Елена и Михаил

ХОЛМОГОРОВЫ

РАМА ДЛЯ МОЛЧАНИЯ

Умеющий молчать не знает скуки – у него всегда есть собеседник

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«Рама для молчания» – собрание изящных, ироничных, порой парадоксальных эссе, написанных как в соавторстве, так и поодиночке. О книгах, прочитанных в детстве, и дневниках Юрия Олеши; о путешествиях – от брянской деревни до просторов Колымы и о старинных московских особняках; о позитивном смысле понятий «тщеславие», «занудство», «верхоглядство» и даже «ночные кошмары».

- Елена Сергеевна Холмогорова, Михаил Константинович Холмогоров
- От авторов
- В прошлом, XX веке
- Елена Холмогорова «Остаюсь твой брат Петр Иванович»
- Михаил Холмогоров Скучная тетя Рая
- Елена Холмогорова Некруглая дата
-
- Михаил Холмогоров Меня выгнали с Колымы
- Елена Холмогорова Вид на революцию из окна
- Елена Холмогорова Послесловие, или Двадцать пять лет спустя
- Приношение Эразму
- Елена Холмогорова Похвала верхоглядству
- Елена Холмогорова, Михаил Холмогоров Похвала праздности
- Михаил Холмогоров Похвала тщеславию
- Елена Холмогорова, Михаил Холмогоров Похвала банальности
- Михаил Холмогоров Похвала занудству
- Елена Холмогорова Похвала ночным кошмарам
- Михаил Холмогоров Похвала арьергарду
- Писатель читающий
- Михаил Холмогоров Илья Ильф: «У меня отобрали крылья»
- Михаил Холмогоров Юрий Олеша: «Я выглядываю из вечности…»
-
- Михаил Холмогоров Юрий Казаков: «Это же смертное дело»
-
- Елена Холмогорова Дон Кихот, Акакий Акакиевич и ослик Иа-Иа
-
- Образ жизни

- Елена Холмогорова, Михаил Холмогоров В гостях у классиков
-
-
-
- Елена Холмогорова, Михаил Холмогоров Месяц в деревне
-
-
-
-
-

Елена Сергеевна Холмогорова,
Михаил Константинович Холмогоров
Рама для молчания

От авторов

Умеющий молчать не знает скуки – у него всегда есть собеседник. Потому что молчание – это неизбежно диалог с самим с собой. С другой стороны, оно может быть диалогом и с реальным собеседником, когда люди сидят рядом и их молчание куда красноречивее слов. Как писал Андрей Платонов в «Чевенгуре», «беседовать самому с собой – это искусство, беседовать с другими людьми – забава».

Вот перед сельским магазином на лавочке две бабули греются под неярким осенним солнышком:

– А картошка-то нынче крупная уродилась.

И замолчали. А за словами – ранние восходы и затяжные дожди, черно-оранжевые спинки колорадских жуков, грязь, облепившая сапоги, комья вывороченной земли на лопате, гора отслужившей свое ботвы, обжигающий пар над кастрюлей…

Под эту сценку можно подвести теоретическую базу.

Замечательная мысль высказана М.М.Бахтиным в книге «Эстетика словесного творчества»: «Молчание возможно только в человеческом мире (и только для человека)». А Михаил Эпштейн писал: «Именно невозможность говорить о чем-то делает возможным молчание о том же самом… Если бы не было разговора, не было бы и молчания – не о чем было бы молчать».

Так же, как и в предыдущей нашей книге «Второстепенная суть вещей», вышедшей три года назад, здесь собраны эссе, написанные «то вместе, то поврозь». Когда мы пишем вдвоем, то, как правило, долго молчим «на заданную тему», ведь раздумье – процесс укромный, беззвучный. Пушкинское «учусь удерживать вниманье долгих дум» – на самом деле о том же. И только с появлением первых строк на экране компьютера начинается обсуждение.

«Слово – это рама для молчания» – формула Максимилиана Волошина. Действительно, как принято говорить, за рамками написанного неизбежно остается очень многое, едва ли не самое существенное, что, впрочем, понимаешь зачастую после выхода книги. И это еще одно подтверждение тому, что слово лишь обрамляет смыслы, которые, постоянно разрастаясь, обретают новые словесные воплощения.

Дар молчания равновелик дару речи. И драгоценен еще и тем, что молчание есть необходимое условие для того, чтобы услышать.

Нам ближе не хрестоматийные тютчевские вопросы «как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя?», а спорящий с ним в

своем стихотворении, тоже “Silentium”, Мандельштам:

Да обретут мои уста
Первоначальную немоту,
Как кристаллическую ноту,
Что от рождения чиста!

В прошлом, XX веке

Елена Холмогорова «Остаюсь твой брат Петр Иванович»

Как точно у Иосифа Бродского: «Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной…» Сейчас трудно придумать по-настоящему экзотическое путешествие. Дебри Амазонки? Гейзеры Камчатки? Южный полюс? Запросто. Любой каприз за ваши деньги! А тогда я обрабатывала отца целую зиму, льстиво напоминала, как маленькой девочкой называла его «пуськаном» за то, что он меня везде отпускал. И уже с подрагивающими губами, еле сдерживая слезы: «Мне скоро тринадцать лет, а я живой свиньи не видела!» Этот аргумент неожиданно оказался решающим.

Провожали меня родители напутствием: «Обещай, что если тебе не понравится, вернешься через три дня!»

Но как мне могло не понравиться?

Моя няня, тетя Паня, по-домашнему, с моей легкой руки, Тёпа, много лет спала на раскладушке, которую расставляла каждый вечер почти вплотную к моей кровати, пока отец не выхлопотал ей комнату в коммуналке. А все мое детство, как только мы гасили свет, я начинала приставать к уставшей за день Тёпе: «Давай играть в колхоз!» Я знала всех председателей колхоза «Имени 8 Марта» с момента его основания, историю укрупнений и разукрупнений, отлично представляла себе его структуру с бригадами и звеньями, разбиралась в системе начисления трудодней и, хоть и умозрительно, была знакома со всем хитрым набором крестьянских работ и забот. Когда мы в школе проходили «Поднятую целину», многое казалось мне странным. Тетя Паня, родившаяся в 1916 году, ярко помнила, как отца заставили отвести в колхозное стадо корову со странным для меня именем Витонка – кормилицу семьи, где тетя Таня была младшим, одиннадцатым ребенком. И почему-то злоба и отчаяние, а вовсе не энтузиазм и радость коллективного труда окрашивали ее рассказы.

Игра наша была почти неизменна, только иногда мы менялись ролями, но сюжет оставался незыблем: утром приходил бригадир к председателю или же звеньевой к бригадиру «за нарядом». И они, обсудив погоду, обязательно начинали препираться, в основном о том, что, мол, другому звену досталась работа полегче.

Няня задремывала, я протягивала руку и теребила ее: «Не спи!» Она ворчала, но, чтобы я отстала, говорила: «Все, вон

подводы, пора ехать на поле». Или: «Дождь собирается, скорее метать стога!» Это или что-то подобное означало, что игра закончилась. Потому что собственно в работу мы никогда не играли. Дети любят повторяемость и вовсе не нуждаются в разнообразии.

Конечно же, я знала почти всех жителей небольшого села Юшина не только по именам и фамилиям, но и, что важнее, по прозвищам. Как выглядят и где находятся правление колхоза, магазин и клуб – главные и единственные достопримечательности села, – тоже было мне известно.

Я мечтала попасть туда, как мечтала, чуть позже, попасть в Париж. И эти страстные желания были почти одинаково неосуществимы. «Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной…» И что число желаний не убывает, на место сбывшегося немедленно в строй встают новые грезы. И это – счастье.

Перед отъездом мы послали сами себе посылки с консервами и подарками обширной тети-Паниной родне. Я никогда не видела ни Петра Ивановича, ни Пелагеи Ивановны – оставшихся в живых ее брата и сестры. Но в подробностях была осведомлена обо всех деталях их жизни, потому что читала вслух тете Пане письма и под диктовку писала ответы. Пелагея писала скупо и невнятно, к тому же совершенно неразборчиво, зато Петр Иванович – всегда обстоятельно и каллиграфическим, как в прописях, почерком. Не знаю, сколько классов было у него за плечами, у тети Пани – два. «Здравствуй, дорогая сестрица Прасковья Ивановна! С приветом из Юшина твой родной брат Петр. Во первых строках моего письма спешу сказать, что мы, слава Богу, живы и здоровы, чего и вам желаем». Этот зачин он не ленился повторять каждый раз. Как и концовку: «Остаюсь твой брат Петр Иванович».

А посылки – особая тема. Просьбы бывали самые неожиданные. Я еще тогда поняла, что в городской жизни работает принцип: «У меня должно быть не так, как у других» (подразумевается – лучше), а в деревне наоборот: «И у меня должно быть, как у других». Поэтому в письме могло быть написано: «А еще пришли мне рубаху голубую, как у Кольки Рябого» или «Очень хочется мне шапку зимнюю типа «боярыня», как у Вальки Заварной».

В деревню отправлялись не только старые, но и просто надоевшие вещи. (Приехав, я то и дело с радостью узнавания видела на ком-нибудь свои или родительские одежки, зачастую использованные в самых немыслимых сочетаниях.) И, естественно, подарки: к Новому году, 8 Марта и Казанской Божией Матери – престольный праздник давным-давно

разрушенного храма, по традиции отмечаемый уже как вполне светский. Что-то вроде Дня деревни Юшино.

…Дорогу эту я не забуду никогда. Пересадка на станции Суземка, где в давке у меня слетела и навсегда сгинула на шпалах новая туфелька, общий вагон, где на полке положено было ехать троим, а на самом деле – сколько уместится. Какой-то полустанок, где поезд стоял минуту и надо было успеть выгрузить чемоданы и тюки. (А может, это и была Суземка, а пересадка где-то еще – сейчас не вспомню.) И наконец – Петр Иванович на облучке, телега, устланная пахучей соломой, и впервые в жизни меня везет не мотор, а живое существо – коричневая (гнедая – поправила тетя Паня) лошадь с дивными глазами, как у красавиц, какими иллюстрировал мой дед-художник всякие восточные сказания.

Больше всего меня поразило, что дома (хаты – опять редактировала тетя Паня) были крыты соломой и что в деревне не было электричества. Потом я узнала, что до войны свет там был, но то ли фашисты, то ли наши взорвали плотину, и за двадцать лет, прошедших после Победы, так ничего и не восстановили.

Поселили нас в освобожденном по этому случаю от хлама чуланчике. В нем не было потолка. Над головой – стропила и скат крыши. Во время сильных дождей то и дело на мой набитый сеном тюфяк сочилась капель.

В первые дни мне было трудно есть приготовленную на печке еду – мешал привкус дыма, потом привыкла. Я все боялась, что кормить будут кашами, к которым с детства питала отвращение. Но на мое счастье оказалось, что главная еда – картошка, которую я обожала во всех видах.

Тогда, в середине шестидесятых, почта работала хорошо – тому свидетельство часть сохранившихся моих писем родителям, когда я поехала в Юшино во второй раз. Писала я примерно через день, и все приходило регулярно. Неизвестные мне доселе слова я обозначала фонетически, поэтому в письмах возникает «кальер», «Алхирейский лес» и загадочное – яблоки сорта «опороть» (как впоследствии выяснилось, имелся в виду «апорт»). В письмах среди прочего обнаружились совершенно мною забытые детали быта. Оказывается, например, проблемой в Москве были подушки:

«Советовались мы насчет пуха. Старый пух с новым смешивать нельзя, потому что старый так и будет кусками и только все испортит. Пух стоит 7 рублей кг, на подушку надо 2 кг. Дешевле не отдадут: 14 рублей пух, да материал. Может, лучше купить перо на две подушки?»

Как же не похожи были эти два лета на привычную дачную

жизнь, где компания моих ровесников гоняла по округе на велосипедах, у кого-то играли в пинг-понг, а у кого-то родители разрешали в карты – в кинга или просто в подкидного дурака, где танцевали под пластинки твист и чарльстон, вечерами пили со взрослыми чай на террасе под непременным оранжевым с бахромой абажуром, а потом чинно прогуливались, неспешно беседуя, по улицам поселка.

Здесь вечером выходят на горку встречать стадо. Там же узнают все новости. Я поначалу все удивлялась, как находят в этой толпе свою корову, а когда стала ухаживать за телочкой Галкой, увидела, какие у них у всех разные лица. Телочка была маленькая, ее еще не гоняли в стадо, а привязывали пастись на длинной веревке к колышку. В полдень надо было принести ей ведро воды, она уже ждала меня, и мы долго шептались щека к щеке, и иногда она облизывала мне нос своим неожиданно шершавым языком.

В деревне компании сверстников у меня не завелось. Тетя Паня всячески ограждала меня от дурных влияний, притом что налитая мне, тринадцатилетней, стопка самогона за взрослым столом ее совершенно не смущала, как и крепкие словечки, каковыми изобиловала речь на посиделках, пока разговоры не сменялись пением «Вот кто-то с горочки спустился…». Самогона, именовавшегося ликер «Три бурака», поскольку гнался из свеклы, всегда было вдоволь, на стол ставилась огромная сковорода «жаренки», то есть яичницы с салом, соленые огурцы, и так можно было сидеть допоздна. Со взрослыми я чувствовала себя легко. Когда первый острый интерес ко мне прошел (полагаю, что наш приезд был некоторое время главной местной новостью), у меня появилось много добрых знакомых. Я была страшно любопытна, а людям всегда приятно, когда с ними беседуют о важном для них. Московская жизнь отошла далеко-далеко. И как о самом существенном я писала домой: «У тетки Даши окотилась овечка. А у соседки Натальи заболела корова, так она дала ей литр самогона, и она поправилась. Зато вчера случилось несчастье: упала в кальер корова. Десять мужиков еле вытащили. Думали, придется резать, тетя Маруся так страшно кричала, прямо выла. А потом зоотехник посмотрел – цела корова. Праздновали. Пели «Из-за острова на стрежень…» Несмотря на запреты, гнали самогон все. Но принимались известные участковому не хуже, чем всем остальным, меры предосторожности. Снаружи на дверь водружался огромный висячий замок – никого, мол, нет дома, потом надо было влезть в окно, запереться изнутри – и можно начинать. Дым валит из трубы, но замок-то снаружи! Пуще всего боялись конфискации самогонного аппарата – большая ценность:

«Спекулируют вовсю дрожжами. Вместо семи копеек за пачку продают за тридцать. А если берешь мало, то есть на рубль или два, то дают на рубль три пачки». Какая точность! И в любом письме – интерес к колхозной жизни: «Народ очень недоволен: подогнали проценты сена под Спас. Теперь хошь в город, хошь коси. Еще все очень недовольны тем, что колхоз перевели с трудодней на деньги, потому что раньше давали и денег, и хлеба, а теперь зерна не дают и скот кормить нечем. А если кто продает корову, это приравнивается к продаже последней рубахи».

Вставали, естественно, рано. В Москве я не представляла себе, чем, собственно, буду заниматься в деревне, взяла с собой два детектива на английском языке, но до них дело не дошло. Только в неделю, когда лили дожди.

Зато я неожиданно втянулась в крестьянскую работу.

Это получилось как-то само собой. Попросилась в поле посмотреть. Стоять и глазеть было стыдно, начала помогать. Все умилялись, мол, барское дитя развлекаться изволит. В общем, типа Льва Николаевича «пахать подано, ваше сиятельство». Разозлилась ужасно. Назавтра повязала по-здешнему косынку и попросила грабли. Через неделю уже никто не удивлялся, все только радовались лишним, пусть и слабеньким, рабочим рукам.

Я страшно боялась ездить на возах. С вершины даже лошадь, его тянущая, казалась игрушечной, а сено, хоть и туго свитое веревками, ходило ходуном и кренилось набок при каждом повороте. Идти было далековато, ныли руки в мозолях, гудели ноги, и так заманчиво было влезть на стог и, покачиваясь, плыть над лошадью и бабами с граблями на плечах. Но необъяснимый страх не пускал меня наверх. Это было в первый приезд. А во второй я писала домой:

«Год на год не робит, как тут говорят, засуха, с сеном совсем плохо, беда. В прошлом году с ног валились от сенокоса, только успевали между дождями ворошить да копны копить, а теперь все наоборот. Наконец разделили проценты сена. Намерили пайки. Сейчас начали возить. Сегодня будем класть большой стог возле двора».

Вокруг было много торфяников, отсюда и «кальеры». К моему приезду его уже кончили рыть, и главным делом была просушка черных кирпичиков с резким специфическим запахом. Сначала торф кольцевали – выстраивали пирамидки рядами в шахматном порядке, чтобы хорошо продувались ветром. А через какое-то время кубовали, то есть складывали в высокий, плотный штабель.

«Дня три стоит хорошая погода, и все спешат закубовать торф. В прошлом году я боялась класть стенки, а только середину, а в этом уже клала всю стенку сама. Впрочем, что вам

объяснять, вы ведь всей технологии не знаете».

А потом я заболела. Простудилась. Поднялась температура. Тетя Паня в полном ужасе требовала лошадь – везти меня в райцентр к врачу. Но ее уговорили пропарить меня в бане, натереть грудь каким-то жиром и уложить на русской печке. Ну и внутрь самогончика с перцем, конечно. Я стоически вытерпела эти процедуры. На следующий день лежала в чуланчике и принимала визитеров. С другого конца деревни пришел, опираясь на палку, одноногий с войны дед Бокай. В руке у него была зажата карамелька. К ней прилипли табачные крошки. Вот это помню, как вчера. Дороже подарка в жизни моей, наверное, не было. Потом пришла баба Дуня, принесла своих особенных малосольных огурчиков и каких-то оладий. И так до вечера. Врач не понадобился.

Райцентр – старинный город Севск – был далеко, километров двадцать, пешком не очень-то дойдешь, надо ждать подводы или попутки. Поездка туда – событие. Особенно по праздникам. «Вчера был Спас, ездили в город на ярмарку. Она представляет собой довольно дикое зрелище: весь город в грузовиках и подводах. Шум и толкотня невообразимые. Продают вещи, которые в Москве не пойдут даже под вывеской «удешевленные товары». Огромное количество овощей и фруктов. Яблоки стоят 30 – 40 копеек ведро. Удивительные старики, продают деревянные грабли, плетухи, коромысла, пральники. И тут же – поросят, коров, петухов». Надо же – деревню помню в подробностях, а вот город оставил только общее впечатление пыли и скукоты.

Кроме работы были и развлечения, например, походы в лес. Жена дяди Пети тетя Таиса – баба-гренадер, выше тишайшего Петра Ивановича на голову, относилась к ним неодобрительно. Мне она казалась очень грубой, сейчас думаю, что только из-за не ведающей запретов колоритной речи. Помню, когда мы принесли грибы, она сказала что-то глубоко непечатное, а потом добила логикой: «Вот собака, жрет что дают. А грибы ваши она станет есть? Нет, не станет. А я, человек, буду этих слизняков хавать?!» (Бедная Таиса, пусть земля будет ей пухом, показать бы ей устриц, а потом цену на них!) А грибов в плетухах мы принесли много. В письме моем упоминаются боровики, подберезовики и таинственные «матрюхи» (кажется, это то, что у нас называют свинушками, а, скажем, в Белоруссии – кобылками, но не уверена). Но больше всего я любила нечастые прогулки вдвоем с тетей Паней, когда она рассказывала всякие истории из своей жизни, о которых молчала раньше, видимо, считая меня маленькой. Тут я впервые узнала, как она потеряла свой правый

глаз – выкололо острым сухим стеблем. Я с детства привыкла к неподвижности этого зрачка, только старалась отворачиваться, когда она на ночь вынимала протез и опускала в чашку с водой, куда я никогда не заглядывала. А однажды мы встретили, как мне показалось, старика, с которым они обнялись и долго сидели на пригорке под березой. Тетя Паня то и дело вытирала свой единственный глаз уголком платка и совершенно забыла про меня, чего никогда с ней не бывало. Когда старик ушел, она заплакала по-настоящему, всхлипывая и размазывая слезы по лицу. Оказывается, это ее жених Семен, всё было сговорено, и на Красную горку намечена свадьба. Монашки готовили приданое, но тут случилось несчастье. Навсегда осталась моя Тёпа Панькой Кривой и вековухой. Семен каждый день приезжал к больнице, где она лежала, и плакал на крыльце. Но преступить сельские законы не смог – калека не жена. Потом уже тетя Паня поведала мне, как танцевали под гармошку, как гуляли до рассвета, и даже показала плетень, у которого впервые поцеловались.

А как жили в войну, ездили на подножках поездов менять тряпки на соль, а потом бежали от немцев, подступавших к партизанскому Брянскому краю, я знала давно. Изба тети-Панина сгорела – попал снаряд, и она на себе таскала из леса бревна на новый сруб. И как она вырвалась из деревни, выправив паспорт за четверть самогона, приехала в Москву и сменила нескольких «хозяив», я много раз слышала. А потом она случайно, гуляя с хозяйским ребенком, познакомилась с моей первой няней Галей, которая сетовала, что должна нашу, «такую хорошую» семью покинуть и «девочку золотую», то есть меня, бросить, потому что выходит замуж. И Тёпа рассказывала каждому, кто был готов выслушать: «Вот что такое случАй! Я как раз подыскивала новое место».

Ожившие игры моего детства оказались совсем иными, но оттого не менее привлекательными. Я, наконец, увидела живую свинью. И еще так много, что сегодня, спустя, страшно сказать, сорок пять лет, питаюсь теми впечатлениями, хотя жизнь и вправду «оказалась длинной».

Михаил Холмогоров Скучная тетя Рая

Песней колыбельной, на каждый вечер, были тогда «Соловьи» – те самые:

Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат,
Пусть солдаты немного поспят…

И это понятно: раннее детство пришлось на войну. Примета времени, как салюты посреди дня в честь освобождения городов, дирижабли во дворе Музея революции и института Склифосовского, двухэтажные троллейбусы на улице Горького. Потом это все исчезнет. В отличие от вечного, от того, что всегда. Как новогодняя елка. А у нее – своя песня, и тоже, наверное, вечная – из тех веков, когда предки приняли христианство и вместо пальмы, каковая в наших широтах не растет, украшали ель:

В лесу родилась елочка,
В лесу она росла…

Вот с этой песенкой – одно из ярчайших удивлений детства. Оказывается, ее вовсе не Пушкин сочинил. И вовсе она не народная, как сказка про медведя на липовой ноге. Ее написала тетя Рая. И к тете Рае мы завтра пойдем в гости.

Мы поехали на метро до станции «Сталинская» (мало кто, наверное, помнит, что так называлась «Семеновская»), потом плутали по каким-то переулкам и вышли к обшарпанному четырехэтажному дому, похожему, как близнец, на три, что выстроились с ним в один ряд. Тетя Рая выглядела больше бабушкой, чем тетей, ей было тогда около семидесяти. Жила она вдвоем с сестрой, тетей Маней – такой же тихой, аккуратной старушкой. Их комната скорее смахивала на чулан, разве что окно имелось. От пола к его подоконнику из стопок книг, каких-то подставок была сооружена лестница.

Обстановка тихой, аккуратной и бедноватой старости взывала к трепетной робости и почтению, что на первых минутах и было мною исполнено, пока… Мы уже сели за стол, пили чай, и взрослые вели скучный разговор, но неведомо из какого угла явилось тощее существо с облезлой шерстью – кот. И, как часто

бывает, среди внезапной паузы раздается немыслимо громкий шепот:

– Мама, а эта кошка из Страны дураков?

Так бы и забылось посещение доброй и скучной родственницы, если б не шепот, ставший семейной легендой. Заодно помнилось и то изумление, что «Елочку» написал живой человек, тетя Рая. И даже зависть была к старшему брату – ему было посвящено специально написанное тети-Раино стихотворение. К моему же детству она стихов писать не могла, да и едва ли б ее вдохновило оскорбление любимого кота: тот был дряхл, прыгать уже не мог, и все сооружение у подоконника было воздвигнуто для него. Остальные посещения тети Раи из памяти вылетели, хотя последний раз я ее видел уже в студенческие годы, то есть достаточно взрослым.

Зависть к старшему брату со временем прошла: стихи по заказу, пусть даже и родственному, хорошими не получаются. «Елка» же родилась как бы сама собой, не по заказу, хотя и была напечатана в 1903 году в декабрьском – рождественском номере журнала «Малютка». Поскольку автор – Раиса Адамовна Гедройц зарабатывала на хлеб насущный тем, что была гувернанткой в семьях богатых, где сочинение стихов почиталось делом легкомысленным, пришлось укрыться за псевдонимом, стихотворение было подписано инициалами «А.Э.». По отцу Раиса Адамовна принадлежала старинному польско-литовскому роду, но той его ветви, что к исходу девятнадцатого века заметно обеднела. Отец ее служил на Московском почтамте и женился на Софье Семеновне Холмогоровой, дочери начальника Первой экспедиции Семена Васильевича Холмогорова – моего прадеда. И, соответственно, тетя Рая приходилась двоюродной сестрой моему отцу.

В 1906 году Раиса Адамовна, не ведая будущих тягот, очень по тем временам удачно вышла замуж: за овдовевшего князя Кудашева, в доме которого она была гувернанткой. До революции ни воспитанник Раисы Адамовны, ни князь не дожили и не застали того момента, когда дом их реквизировали, а хозяйку революционные отряды выкинули на улицу. Дом же ее стоял долго, и я его хорошо помню. Он находился в Воротниковском переулке, лицом к той части Старопименовского, что вела на Тверскую (переулки в Москве норовят изгибаться коленцами). Это был желтенький особняк с мезонином, и четыре могучие липы росли перед ним, с кронами, зимой отягощенными вороньими гнездами. В 1970 году кудашевский особняк снесли, чтобы выстроить многоэтажную башню желтого облицовочного кирпича, окрещенного с легкой руки Булата Окуджавы «оккупантским» («И

ходят оккупанты в мой “Зоомагазин”»). Впрочем, теперь и башня прославилась: здесь прошли последние годы великого диктора Юрия Левитана.

Стихотворение же жило своей жизнью, приятно изумив однажды автора тем, что какая-то девочка в поезде пела на слова «Елки» песенку. Спустя годы, когда ровесник песенки, чудо XX века – радио покинуло глухие стены лабораторий и вошло в повседневный быт, песенка зазвучала и по радио. Оказалось, что на музыку положил ее Л.К.Бекман, но кто автор стихов, не сообщалось, полагали, что народные. И можно было бы объявиться, сказать, что я, мол, автор. Я, княгиня Кудашева… А годы на дворе стоят – тридцатые. С таким титулом недолго и на Лубянку загреметь. В этой связи вспоминается эпизод времен моей работы в издательстве «Московский рабочий». Готовилась к выходу в свет книга повестей и рассказов Федора Федоровича Кудрявцева, человека знаменитого в кругах московских лошадников. Он и дебютировал в печати рассказом о лошадях. Ко времени издания книги автор уже умер, и в редакцию приходила его вдова. Оказалось, что Федор Федорович не про одних только лошадей писал. Биография его была весьма романтичной: он служил и в кавалерии, и в разведке Генштаба, и даже в Париже побывал. А в разгар Сталинградской битвы, где он командовал ротой свежевыпущенных лейтенантов, обучая их искусству воевать непосредственно в бою, его посадили. И есть у вдовы целый цикл его лагерных рассказов. А поскольку уже гласность настала в стране, умолили скованную страхом вдову показать и лагерные рассказы. Разумеется, напечатали. И вот когда уже книга с потаенными рассказами вышла в свет, вдова поведала самую страшную тайну: настоящий Федор Федорович Кудрявцев умер в 1918 году, а по его документам до самого 1976 года доживал жизнь его кузен граф Алексей Викторович Канкрин, прямой потомок известного министра финансов при Николае Первом. Он бежал из-под ареста, двинулся на Дон, но попал к красным. Выпускник Пажеского корпуса, проявил себя блестящим знатоком военного дела и командиром… Но всю долгую жизнь прожил под чужим именем.

И это боевой офицер, прошедший все испытания нашего века! Что ж спрашивать с бывшей гувернантки. Притаилась в тихих заводях районных библиотек, где при нищенском жаловании не очень интересовались происхождением. А в 1940 году все по тому же радио услышала, что не только музыка, но и слова принадлежат Бекману. Возмущение пересилило страх.

Леонид Карлович Бекман вовсе не профессиональный композитор. Он был ученым-агрономом, кандидатом

естественных наук, но, как многие интеллигентные люди начала века, не чужд был и музицирования, благо жена его Е.А.Бекман-Щербина была известной пианисткой, и это она записала мелодию, поскольку сам автор музыки нотной грамотой не владел. Да и песенку он написал даже не к Новому году, а в подарок дочери, у которой в день ее рождения появилась на свет младшая сестренка. При жизни Бекман на авторство стихов не претендовал, и уже после его смерти по ошибке музыкального редактора на радио ему было приписано сочинение слов. Так или иначе это обстоятельство возмутило Раису Адамовну, и в семье заговорили о ее авторских правах. А другое обстоятельство заставило не оглашать воздух возмущениями, а приступить к делу. Один наш родственник путем обмена въехал в писательский дом в Лаврушинский переулок, аккурат в соседний подъезд с чрезвычайно важным для пишущего человека учреждением – Управлением по охране авторских прав. И моя мама зашла туда просто посоветоваться.

Встретил ее азартный молодой тогда адвокат Марк Александрович Келлерман, который с жаром взялся за дело, казавшееся на первый взгляд весьма тусклым: журнал был малоизвестный, давно закрылся, подпись под стихами стояла с чужими инициалами, автор к тому же и фамилию сменить успел… Но Марк Александрович принадлежал к числу тех людей, для кого именно трудности и разжигали азарт. Кинулись по библиотекам – нигде нет, даже в Исторической. Все же в Ленинской библиотеке отыскался экземпляр «Малютки» за 1903 год, в домашних архивах – первоначальная рукопись «Елки», а по запросу Управления по охране авторских прав в ЦГАЛИ удалось найти документы о выплате гонорара. Дальше был суд, который М.А.Келлерман выиграл в пользу Раисы Адамовны. Все это заняло много месяцев, зато накануне 1941 года по радио объявили об исполнении песенки композитора Л.Бекмана «В лесу родилась елочка» на слова поэта Р.Кудашевой. Благодаря этому ей удавалось сводить концы с концами и при мизерной пенсии, а потом издать и другие свои детские стихи. С ее книжкой «Петушок» уже много лет спустя после смерти автора росла моя дочь.

Неутомимый исследователь детской литературы Владимир Глоцер успел встретиться с тетей Раей при жизни, разыскал все имевшиеся к тому времени документы и в биографическом словаре «Русские писатели. 1800 – 1917» напечатал о ней статью и даже поместил фотографию. Как раз тех времен, когда я ее помню.

Наше воображение не всегда уживается с упрямой памятью.

Для меня Раиса Адамовна – всегда скучная тетя Рая с внешностью бабушки. Но вот, собирая материал для романа о русском интеллигенте Серебряного века, пережившем насквозь весь XX век, я забрался в глубину домашних архивов… Занятие, доложу вам, и сладостное, и горькое. Десятки неподписанных фотографий – и это все твоя родня, а кто изображен, где? Нет ответа. И спросить не у кого. Зато и находочки! Портрет Василия Васильевича Розанова с дарственной надписью моему родному дяде. Несколько его же гимназических фотографий, где запечатлен старший брат Марины Цветаевой Андрей. Копии отдал в музей Марины Ивановны, а одну, сделанную дядей Шурой: «Андрей Цветаев на велосипедной прогулке в Сокольниках» – даже в оригинале. И вот среди этих десятков семейных реликвий обнаруживаю фотографии сестер Гедройц 1907 года. Молодая элегантная дама с насмешкой гордых губ – тетя Рая. Княгиня. Современная техника позволяет так увеличить старый снимок, что выражение лица, еле заметное в оригинале, проясняется со всеми психологическими тонкостями.

Когда-то столетие казалось каким-то немыслимо огромным временны́м расстоянием. Сто лет Короленко, Чехову, Валентину Серову – целая пропасть отделяла мое поколение от тех юбиляров. А неслышное время подкатило – и вот: под новый 2004 год исполнилось ровно сто лет словам песенки «В лесу родилась елочка», вот-вот стукнет сто десять. И это никак не укладывается в голове у мальчика, пившего чай у тети Раи и нечаянно оскорбившего ее любимого кота.

Мальчик, посмотрись в зеркало! Твое собственное столетие ближе дня появления на свет.

Елена Холмогорова Некруглая дата

Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.

Юлия Друнина

Я ничего не знаю о войне, кроме того, что там было страшно… Я родилась после Победы, и Бог пока что упас от зрелища кровавой бойни. Есть, конечно, испытанный на собственном опыте животный страх перед темной подворотней или разгоряченной толпой, но это нечто иное.

Случилось так, что в начале 2005 года, когда уже вовсю гремели трубы очередного юбилея Победы, мне впервые попали в руки фронтовые письма моего отца. Я не знала, что они сохранились. Под Рождество, придя из храма, остаток ночи и весь праздничный день я сидела над папкой и перебирала листки, которые казались необыкновенно красивыми: не пожелтевшими от времени, а будто специально тонированными, как модные сейчас фотографии цвета сепии. Мы бы назвали такую бумагу «оберточной», хотя наши дети такой тоже уже не помнят. Крупно – ВОИНСКОЕ. Политработники не упустили возможности наглядной агитации. Сверху – «Смерть немецким оккупантам!» Слева, слегка перекрытые синим штампом «просмотрено военной цензурой», никогда прежде не встречавшиеся строки:

Немецкие руки – в русской крови…
Родина требует – останови!

А вместо обратного адреса обезличенные цифры полевой почты. И так странно, что дом для отца – 8-я Гвардейская Армия, 1-й Белорусский фронт, 625-й отдельный мотострелковый батальон…

Я долго копила силы, чтобы вернуться к этим письмам, адресованным родителям и датированным 1945 годом, из Польши, Чехословакии, Восточной Пруссии, наконец, из Берлина и только то и дело смотрела на открытку, которую положила под стекло письменного стола:

12 мая 1945 г.
Дорогие родители!
Война – кончилась!
Я – жив.
С приветом из Берлина
Сергей.

Мой отец, переводчик восточной поэзии Сергей Леонидович Северцев, умер летом 1991 года, как раз на сороковины пришелся августовский путч, и собравшиеся помянуть его родственники и друзья торопились домой, чтобы успеть до объявленного комендантского часа. А в 1945 году ему был двадцать один год и он успел, как принято говорить, «пройти боевой путь от Волги до Берлина».

Отец не любил рассказывать о войне, но в День Победы надевал награды. Он возил на грузовике снаряды, поэтому после войны ни разу не сел за руль. Я не могу объяснить, почему не день его рождения и не дата кончины, а именно Девятое мая для меня – день его памяти.

Я воображаю: мальчик из рафинированной интеллигентной московской семьи художников и музыкантов, не представляющий себя иначе как поэтом, принятый в 1941 году в знаменитый ИФЛИ…

В землянке? В окопе? За Родину, за Сталина!!! Фронтовые сто граммов? Медсестричка? Глаза в глаза с мальчиком-немцем? Убей его?!.

Пресловутая «окопная правда», за которую так поносили наших лучших писателей-фронтовиков и по которой я всегда пыталась уловить правду, теперь сконцентрировалась для меня в одной фразе, написанной отцовской рукой и неслучайно подчеркнутой (а он любил подчеркивания) немного неровной линией. В других письмах строчки ровные, как шеренги на параде, а в этом – чуть пляшут, и воображение тщится дорисовать, где и как оно писалось:

«…Я не мог знать тех дней, где еще не побывал. Я не знал быта, я был беспомощен в грязных сырых завшивевших землянках, куда попал, выгрузившись из эшелона – через двадцать пять дней после отъезда. **Я готовился к большему, но я не знал, что бывает худшее.** Оказалось, что я никогда не мерз, не бывал грязен, не терпел от людей. Оказалось, что я совсем не знаю людей. Мне, привыкшему к вниманию и сочувствию, холод людей, которым в самом деле не хватало еще жалеть и ободрять незнакомого парнишку – казался беспощадностью» (11 марта 1945 г.).

Бацилла сочинительства, как известно, неистребима, никакие обстоятельства не способны изгнать ее. Всю войну отец сочинял стихи. В 1945 году, когда пишутся эти письма, он занят циклом сонетов.

Сонет из цикла «Другу» Снега, снега… стада замерзших монстров:
Орудий, тягачей, грузовиков…
Шоссе, сползая с волжских берегов
Их огибает, как железный остров.
Прибрежных ветел узловатый остов.
Следы колес, полозьев и подков.
Два фрица – скорчась. Ледяной покров
В зеленых куртках затвердел коростой.
И труп бойца, упавший в снег лицом…
Мы взять его хотели вчетвером
И не смогли: он вмерз, завеян вьюгой.
Мы прочь пошли – шоссейным трактом – вверх…
Но жжет с тех пор: что если тело друга
Лежало там – и я его отверг?

«Отец, ты спрашиваешь меня о том, стоит ли волновать и тревожить меня – в моей стесненной обстановке – высказываниями из области искусства, присылкой литературных газет и т.д. Пиши, присылай, и пусть тебя это не беспокоит. Это только полезно для меня – я должен не отставать от жизни. Но что-то перегорело во мне: я стал гораздо спокойней. Может быть, я смирился? Может быть, это лишь железная закономерность привычки, обуздывающая человека даже в самом огненном и деятельном его начале? Не могу определить, хоть и задаю себе этот вопрос много раз. Но я научился жить и дышать воздухом – **вне литературы** . Мне сдается, что два-три года, проведенные мною в таком состоянии непосредственных восприятий, когда я «живу жизнью», будут мне исключительно полезны. А сейчас я – «пар», отдыхающая земля…» (13 февраля 1945 г.).

А теперь маленькое, но существенное для меня отступление.

Сейчас каждый норовит сказать, что антисоветчиком был с детского сада. Не стану лукавить: я с комом в горле выходила на торжественных линейках под знаменем нашей пионерской дружины, и, хоть активисткой не была, до определенного момента не чувствовала идеологического пресса. Первой ласточкой моего прозрения оказалось, как водится, «наше все». Было задано домашнее сочинение по «Евгению Онегину». Тему не помню, но, наверное, что-то вроде «энциклопедии русской жизни». Сочинения не составляли для меня особого труда, но был список рекомендованной литературы, и я отправилась в читальный зал. Я впервые открыла настоящую литературоведческую книгу. Точнее, брошюру. Автора, разумеется, не помню, но, как сейчас полагаю, издана она была в 1937 году, к столетней годовщине смерти Александра Сергеевича. Реконструкции мои сегодняшние основаны именно на том, что поразило меня тогда и с чего начались, как говорил Андрей Донатович Синявский, «стилистические разногласия с советской властью». Поначалу мне нравились длинные округлые фразы, очень «правильные» построения, и я даже выписала кое-что для будущего сочинения. Но финал совершенно выбил меня из колеи.

Как жаль, что не дожил Александр Сергеевич до наших дней! – восклицал автор. – С какой бы радостью он «содвинул бокалы» с прославленным героем-летчиком Валерием Чкаловым и порадовался успехам нашей социалистической Родины!

Валерий Чкалов, в год юбилея совершивший перелет через Северный полюс в Америку, разбился на следующий год при испытании нового истребителя, и даже странно, что авиаконструктор Н.Н.Поликарпов еще раз не отправился за это в места не столь отдаленные. У меня была изданная, вероятно, в том же году, детская книжка, которую я любила рассматривать. Больше всего мне нравилось, что у самолета были красные крылья – настоящие «крылья Родины». Так что имя Чкалова было мне хорошо известно. Но при чем здесь Пушкин! И такой фальшью потянуло со страниц, где только что так плавно лились обобщения и сравнения… Нет, никогда не стану я заниматься филологией, если платой будет обязательное привязывание любимого поэта к «простым людям» и свершениям социализма.

Примерно в это же время, уже вкусив отравы критического подхода к безусловным вроде бы текстам, я впервые задумалась над словосочетанием «интеллигенция и народ», да так и пребываю в этой задумчивости сегодня, сорок пять лет спустя. Тогда же союз «и» в привычном клишированном сочетании, до поры не резавший слух, вдруг стал невыносим, обнажилась вся вредоносная нелепость такой дихотомии.

Так вот, в одном из отцовских писем есть описание вечера, когда он читал стихи своим боевым товарищам. До фронта он едва ли знал таких людей – крестьянских парней из глухих деревень, рабочих от станка. Как он волновался! И каким счастьем для него было, что они слушали, не проронив ни звука. И, может быть, я впервые поняла, что такое боевое братство, когда на кону жизнь своя и родной страны и, в конечном итоге, почему мы победили…

«24 февраля на вечере самодеятельности я выступал со своим новым большим стихотворением «Сталинградец». Никогда еще не испытывал я таких вдохновенных минут! Я читал не готовясь, даже не обдумав хоть сколько-нибудь, как буду читать. Я не волновался – и все же, помню, дрожал всем телом, именно что не от волнения, от полноты счастья. Каждая интонация, каждый жест приходили сами, приходили вовремя. Зал слушал – я чувствовал его в своих руках. После выступления я спрашивал многих солдат: правдиво ли, просто ли, похоже ли на действительность? И ответы были самыми удовлетворительными!.. Я знаю, что Кошелев не любит меня – вероятно потому, что чувствует – или не может признаться себе в том, что мое будущее – больше, светлее, интереснее. Не прощу ему той усмешки, с которой он, маскируясь дружеской улыбкой, сказал мне, вышедшему на пространство перед рядами: «Только покороче…» (5 марта 1945 г.).

Я читаю письма, стыжу себя, но ненавижу неведомого Кошелева, может быть, героя, отдавшего жизнь на той войне, ничего не могу с собой поделать – ненавижу за то, что посягнул на самое для отца святое:

Почему ты жил? Какая сила
Жизнь твою – сквозь гибель выносила
Из неравных схваток всякий раз?
Ярость? Иль удача? Иль отвага?
Ты не знал. Ты знал: назад ни шага!
Ты был жив. Ты выполнял приказ.

(Из поэмы «Сталинградец») Уже навсегда узаконили пастернаковские строки как формулу «неслыханную простоту», и эта «ересь» прорывается сквозь привычные эстетские фиоритуры. И волею обстоятельств такой образ мыслей и рисунок поведения становятся органичными.

Много лет назад, занимаясь историческими штудиями эпохи Александра Первого, я прочитала работу Юрия Лотмана, настоящего (без привлечения Валерия Чкалова!) пушкиниста, «Декабрист в повседневной жизни». И тогда меня поразило замечательно точное рассуждение, многое объясняющее в мучившем меня клише «интеллигенция и народ». Лотман

расставил все по своим местам. Да, народники, бросившие свои уютные гостиные с фикусами и геранями и пошедшие проповедовать и просвещать в курные избы, казались безусловными героями, а не понявшие и не оценившие их порыва крестьяне – неблагодарной темной «массой». Но почему так случилось? «…Подлинно хорошее воспитание культурной части русского дворянства означало простоту в обращении и то отсутствие чувства социальной неполноценности и ущемленности, которые психологически обосновывали базаровские замашки разночинца. С этим же была связана и та, на первый взгляд, поразительная легкость, с которой давалось ссыльным декабристам вхождение в народную среду, – легкость, которая оказалась утраченной уже начиная с Достоевского и петрашевцев… Эта способность быть без наигранности, органически и естественно «своим» и в светском салоне, и с крестьянами на базаре, и с детьми составляет культурную специфику бытового поведения декабриста, родственную поэзии Пушкина и составляющую одно из вершинных проявлений русской культуры».

«Отец! Хочу описать тебе хоть один вечер – из стольких вечеров, проведенных мною без тебя. Я иду по затвердевшей земле, слушая свой шаг, хруст мерзлой грязи, покряхтывание льда. Впереди в лунных отсветах далеко вырисовываются очертания станции, горб взорванной водокачки вровень с деревьями, плоские пакгаузы, неподвижные массы скопившихся на путях вагонов. Я слышу звук, проникающий неожиданно во все и все меняющий. Останавливаюсь и распознаю немецкие моторы. Самолет идет недалеко, но стороной, разливая металлический волнообразный звук. В этот момент я как раз останавливаюсь метрах в шестидесяти от зенитно-орудийных гнезд. Воздух неколебим – до самого зенита, где текут стада облаков – и в нем ясно раздаются голоса. Обычные слова команды: «Внимание!..» Затем: «Направление север». Звук мотора приближается. Затем: «Угол возвышения сорок пять, трубка…» Я знаю: сейчас будет выкрик: «Огонь!» На таком расстоянии волна оглушительней всего. Но мысль занята не этим. Я слушаю звонкие серьезные голоса девушек-зенитчиц, произносящие слова команды. Я смутно вижу фигуры у поднятых вверх стволов. Я представляю себе этих молоденьких веселых девчат и всем собою чувствую могучий теплый воздух, слышу звук идущего в нем на высоте немецкого самолета. В этом соединении явлений есть что-то необъяснимое, но оно объясняет до дна войну, весь смысл ее притупившегося понятия» (март 1943 г., Курск).

Я искала, чтобы привести здесь, точную цитату, но – вот уж в

полном смысле слова – Habent sua fata libelli, в том числе и книги, которые обрели приют на твоей книжной полке, они тоже имеют свои судьбы. И, листая книги Лотмана, я наткнулась на публикацию странички из рубрики «ветераны вспоминают» в газете Тартуского университета: «У всех была разная война. Знать войну вообще так же невозможно, как знать жизнь вообще… В одних случаях страшнее всего мороз, в других – танки, в третьих – комары и пикирующие самолеты, в четвертых – старшина или стертые ноги». И вспоминаю подчеркнутое в письме: ***« Я готовился к большему, но я не знал, что бывает худшее».*** И дальше у Лотмана читаю следующий парадокс: «На передовой – те, кто не были, мне могут не поверить – гораздо лучше, если, конечно, не считать того, что там чаще убивают. Но это на войне входит в правила игры».

Армейская судьба отца сложилась так, что он, в основном, был вдали от передовой, и это составляет предмет его серьезных нравственных мучений:

«…Я думаю о себе. Ведь я – молодой, здоровый – нахожусь практически в тылу. Но каждый ли может быть на моем месте? Я полезен уже потому, что занимаю должность, на которую без меня потребовался бы другой человек, не всякий человек, человек, который, в свою очередь, нужен на другом месте. Правда, я – далеко не конечное звено в той цепи, которой соединен тыл с фронтом. Я – посредине, пожалуй, даже ближе к тылу. Я кормлю триста человек. Эти люди работают на машинах. Машины перевозят продовольствие, боеприпасы, тыловые учреждения. Бойцы в окопах стреляют патронами, подвезенными на этих машинах, едят сухари, подвезенные на этих машинах. Эти бойцы – конечное звено цепи. Справедливо ли мое положение? Справедливо своей пользой, своей необходимостью. Так отчего же я всегда чувствую себя виноватым, чужим, чувствую себя «за бортом», когда идет запыленный молоденький пехотинец, когда тяжело прокатываются по шоссе танки, с грохотом отцепляя гусеницы?..» (6 февраля 1945 г.).

Однажды отец рассказал мне, что уже в семидесятых годах был на встрече с каким-то военным психологом, который долго и с пафосом расписывал важность морально-политической подготовки. И когда пришло время вопросов, кто-то спросил: «А то, что вот этим мальчикам надо будет взять оружие и идти убивать, пусть врагов – людей, стрелять в живого, себе подобного человека. Как вы учитываете это в своей работе?» Лектор напрягся, но лишь на миг: «Этот вопрос нами не прорабатывается».

Я знала, что отцу не пришлось убивать. Он мог стать таким

же «запыленным молоденьким пехотинцем», это лишь воля случая, это лишь судьба распорядилась иначе. Он мучился не потому, что не убивал, а потому, что не мог пожертвовать собой.

«Дорогие родители! Вот оно, счастье, вот оно, долгожданное наступление! Кончился полугодовой застой – началась пора стремительных передвижений, она потребует от каждого из нас все силы, все мысли, всю энергию. Мы уже маханули за полтораста километров и сейчас у стен братской столицы, но и на этом дело может не кончиться, когда фронт уже вламывается в Германию. Вероятно, через несколько дней – снова дорога, снова счастье, снова ветер в лицо». (21 января 1945 г.)

«Итак, сегодня еще одна дата моей жизни: я пересек польско-германскую границу, где на КПП – щит с крупной надписью «Вот она, преступная Германия!» Признаюсь, это – сильное ощущение. Но каково оно было для тех, кто первыми вошли сюда в феврале!» (16 апреля 1945 г.).

Пафос приближающегося триумфа, торжество общей победы. И на этой волне так естественно стремление к единению!

«Вчера я вступил в кандидаты партии. Приняли единогласно. Отец, я живу и делаю шаг за шагом – без тебя. И таков мой новый шаг. Я постарался взглянуть на весь вопрос из самой глубины того, чему ты учил, чего мне все равно никогда не забыть. Я помню – до войны – наши беседы. Тогда, пожалуй, были мотивы к ужасу, к осуждению. Сейчас я не нашел их в себе. Я сказал себе: «Нет ничего лучшего, ни к чему лучшему не пристать!» Это – так, и без компромисса. И еще: надо любить землю, надо быть земным. Надо шагать в ногу. Сергей» (25 апреля 1945 г.).

Вчитываясь в это письмо, понимаешь, что осторожность и продуманность формулировок – не только от мыслей о военной цензуре, но и от боязни обжечь отца предательством. Ведь проблема «отцов и детей» в конечном итоге всегда упирается в иллюзию молодости о достаточности собственного опыта, непригодности опыта предков и чувство снисходительного превосходства. И в строчках письма аккуратно и в то же время настойчиво дается почувствовать обретенная за три военных года самостоятельность и, более того, преимущество обладания каким-то новым знанием, отцу неведомым. Сквозь призму « *нескольких тысяч световых лет»,* как он обозначит эту временную дистанцию в следующем письме, уже едва различимы « *наши беседы»,* а все « *мотивы к ужасу, к осуждению»* заслонены и общей бедой, и торжеством победителей.

После Девятого мая в письма все больше вкрадывается растерянность. Война окончена, долг выполнен, но… Жизнь там, в Москве, откуда он уехал почти мальчиком сначала в эвакуацию,

а потом – на фронт, в квартире, где по-прежнему раскрытый рояль в комнате дяди и неоконченный холст на мольберте отца, и куда теперь он войдет совсем другим, взрослым, осталась той же. Но не стал ли он ей чужим?

«Дорогой дядя Сеня! У меня два повода написать тебе: оба носят экстраординарный характер. Во-первых, я получил от тебя письмо (от 10 мая, предыдущее было 8 апреля), а во-вторых, я слышал тебя по радио. Это было 23 мая, к вечеру. Впереди была еще целая ночь перевода допросов. Полный мыслями о еще не оконченном сонете из цикла «Другу», я расхаживал во втором этаже по пустым комнатам – и вдруг за три-четыре комнаты, за стеной услышал знакомые звуки бетховенской сонаты. Я почти бегом направился туда и вломился в комнату капитана Стремовского, который – седой, желтый и хмурый – стоял, сопя по привычке посреди комнаты, расстегнув китель. Я откозырнул, извинился и объяснил, что «передают знакомую музыку, и как бы не кто-нибудь из знакомых пианистов ее исполняет». И, подойдя к приемнику, стал вслушиваться.

Я так и не смог определить, кто играет: ты или не ты. Или я уже утерял ощущение твоего стиля, или ты изменил, сдвинул его за эти три года. Не мог понять, кто играет, пока дикторша не произнесла: «Мы передавали концерт из произведений Бетховена. Исполнял засл. деятель искусств профессор Фейнберг»… На этом происшествии я еще раз проверил себя и еще раз почувствовал, насколько я глубоко ушел в свою действительность, в свои будни. Даже слыша звуки, исторгаемые твоими пальцами, я не ощутил их реальность. Они были из такого далека, что не умещались в сознании. До них было несколько тысяч световых лет. Я не говорю о том блаженном ощущении прочности, с которым я живу, зная, что у вас, на Миусах – все благополучно!» (29 мая 1945 г.).

Сонет из цикла «Другу» Десятый класс. Кончался школьный срок.

Миусский парк. Знакомый дом под тучей.
Канун войны… А нам казалось лучше
Бродить вдали, в краю певучих строк.
Наш тесный мир! Переступив порог,
Мы были в нем огромнее и чутче:
О звездной сфере нам поведал Тютчев,
И радугами улыбался Блок.
А вечера? А «Моцарт и Сальери»?..
А книжных полок тусклые леса,
И мягкий свет, и запертые двери,
И мы вдвоем?.. А наши голоса?..
О если б мог я – позабыв потери —

Туда вернуться – хоть на полчаса!

Потери никогда не бывают забыты. А возвращение, как ни страшись, неумолимо приблизилось.

«Дорогие родители! Сообщаю вам, что вчера, 25 октября, я демобилизован. Мне выданы все документы, продукты на дорогу, воинское требование на проезд по железной дороге.

Отец со своей всегдашней ортодоксальностью оказывается в конце концов прав в своих рассуждениях о том, что «ваш мир», заслоненный миром пяти чувств – бывает слишком неконкретным для меня. Ведь только этим и объяснить, что, развернув лист газеты с Указом, я заявил тотчас же: «Нет-нет, что касается меня, то я еще хочу служить – год, самое меньшее». И в эту минуту я не допускал ни малейшего сомнения в том, что для меня это – правильно, умно, честно и выгодно для меня, для моего развития, моей деятельности, моей поэзии.

Пусть этот случай станет мне примером того, как **не нужно** решать серьезные вопросы своей жизни… Я забыл самое главное: **какое огромное и долгожданное счастье ждет меня!** Беседы с отцом, наши прогулки по таинственным переулкам, наша мастерская, где он будет писать, поминутно пятясь, отходя от картины с палитрой и кистями, а я буду вслух читать ему Овидия или Достоевского!.. К чему мне **не моя** жизнь, когда так четко определилась моя жизнь! К чему мне чужие люди, когда живы, ждут меня и любят мои люди!» (26 октября 1945 г.).

Все встает на свои места. Осознание реальности приходит постепенно и очень мучительно. Чего стоит одно признание: « *Я забыл самое главное».*

Наверное, у каждого так бывает даже после недолгой отлучки: входишь – и в первую секунду не узнаешь дома – все было не так. И почему-то всегда комнаты кажутся тесными. Представляю отца, в шинели, с фанерным чемоданом переступившего порог квартиры на 3-й Миусской, где прошли и первые годы моей жизни, как он не узнал своего отражения в огромном, до потолка старинном зеркале, властвовавшем в передней…

В череде непрерывно и малоосмысленно меняющихся наших светских праздников День Победы – единственный вроде бы стоит незыблемо и отмечается даже в «некруглые» годы. Пока. А я теперь, наверное, лучше понимаю, почему именно Девятое мая для меня день памяти отца.

Хотя – «…тот ничего не знает о войне».

Михаил Холмогоров Меня выгнали с Колымы

«Не изготавливал с учащимися наглядных пособий». Это, как ни смешно, самое страшное обвинение, на основании которого я с позором досрочно был выдворен с Колымы в столицу нашей родины Москву. Смех смехом, но Хрущев вздумал выдавать дипломы выпускникам вузов только после года работы по распределению, школьная директриса всячески шантажировала меня этим и в конце концов выдала уморительную отрицательную характеристику. Когда я вернулся в Москву, эту дурь уже отменили, но в деканате хорошо над ней поржали.

Я шел на комиссию по распределению (совершенно забыл, где, в какой аудитории она проходила, кто был ее членом), вооруженный справкой о трехлетнем сыне, полагал получить свободное трудоустройство, но острый приступ любопытства и неудавшейся тогдашней влюбленности дернул за язык, и я брякнул: Магадан. Никакого представления о том, куда суюсь, не было. Но очень хотелось прокатиться за государственный счет по Транссибирской магистрали, а дальше – на пароходе.

Я уезжал 4 августа 1965 года. Мой дядя Коля, которого в войну отправили не на фронт, а на Дальний Восток на случай нападения японцев, напутствовал:

– Под Владивостоком будет станция Ружино. Такая дыра – стишок о ней ходил:

Ружино
Говном окружено.

Станция эта запомнится: на пустой платформе, облаченный в белый парадный китель, стоял начальник станции – двойник Брежнева. Когда я возвестил свое изумление на весь вагон, капитан танковых войск, едущий после академии на место службы, страшно перепугался. Трусость наших офицеров перед начальством меня всегда изумляла. Позже, работая в издательствах, я ее обнаружу в военной цензуре и в Главпуре.

В дороге почти не отрывался от пейзажей. К сожалению, Урал проезжали ночью, так что его, считай, и не видел. А когда тащились в жестокий зной по Барабинской бесконечной степи, убедился окончательно: нет, степь – не моя стихия. А потом пошли горы, вдоль железной дороги сияющие цветущим шиповником. Нагромождения гор, заросших тайгой, тоже

непривычны глазу, зато намного приятнее. Байкал встретил дождем, в его свинцовые воды кинул, разумеется, монетку, чтобы когда-нибудь потом «вновь посетить». Не привелось, только денежку жалко. Как много лет спустя – облаченная в металлические кругляшки мечта утонула в фонтане Треви и водах Сены. На станциях мальчишки драли бешеные деньги за стаканчик черники. Много слышал об уссурийских помидорах, но видом их был изумлен до чрезвычайности. Редкий плод поместится в глубокую тарелку. На вкус они несколько разочаровали: я люблю брызжущий сок, а эти мясисты, мясо и поглотило влагу.

Владивосток. Полгорода родни, так что время до отплытия пролетело незаметно.

Ездили за город, и там я впервые видел маньчжурский орех. Почти как грецкий, который, правда, встречу лишь через двадцать без малого лет в Армении. Орех маньчжурский тверже грецкого и не такой вкусный. Потом в Москве узнаю это дерево в саду первого дома Шехтеля в Благовещенском переулке. Присматривался к цветам, ища экзотику: нашел незнакомые синие, никто не мог сказать, как называются. Еще там растет джефферсония сомнительная, но это я узнал сравнительно недавно из определителя растений.

На теплоходе «Николай Жуковский» пассажиров встретил пограничный контроль. Мне лейтенант погранвойск задает странный вопрос:

– Где второй паспорт?

Вылупляю на него глаза.

– Этот паспорт просрочен.

Облегченно вздыхаю:

– Переверните страницу – вот печать, что он продлен еще на пять лет.

«Жуковский» был заполнен молодыми девицами, едущими со всей России по оргнабору на плавучие заводы по переработке рыбы и крабов на острове Шикотан. Поэтому держим путь не через Татарский пролив, а через Цугари – между островами Хонсю и Хоккайдо. В японских водах нас сопровождают белые пограничные суда. А на фоне закатного неба промчался на катере японец в кимоно.

На пароходе царил разврат. Девки заволакивали к себе дембелей и матросов. Мне тоже обломилось в спасательной шлюпке на юте. Едва мы с девицей Ириной завершили мимолетный союз, над нами вырос матросик со своей кралей, стал поторапливать. Образовалась целая очередь нарушителей заповеди «Не прелюбысотвори».

Качка началась при выходе в открытый Тихий океан. Потом вроде улеглось, но в Охотском море зашатало еще круче. Оказывается, Охотское – самое штормовое из всех морей. Но все-таки морскую болезнь перенес довольно сносно.

Магадан – город без архитектуры. С моря видны были две стандартные башни-девятиэтажки, украшающие бухту Нагаево, главная улица – невзрачные строения сороковых-пятидесятых годов, за ними – бараки. Во дворах – гроздья вяленой наваги. В магазинах – экзотика для материка (материком здесь зовется вся Россия): копченая кета. В порту и на улицах встречают цыганские таборы – как они сюда попали? И очень много грузин, едва ли не больше, чем в Москве в период цветенья мимозы. Потом мне покажут изданный в Магадане судебный отчет о грузинской мафии, переправлявшей на материк ворованное золото. При Сталине грузинские бандиты получали по двадцать пять лет. Выйдя на свободу, многие здесь осели, наладив контрабандные пути. По тогдашнему УК за определенный вес краденого золота давали расстрел. Милиция стояла над душой химиков-экспертов, чтобы подводили этот вес под расстрельное количество, поскольку главари мафии умудрялись и из тюрьмы управлять процессом. Общий вес вроде бы совпадает, но требуется – вес химически чистого золота, оно же в песке и самородках все равно имеет какие-то примеси. Мне как-то показали золотой песок – никакого впечатления.

Из облоно меня направили в Усть-Омчуг, столицу Тенькинского района. Это больше 300 километров по Тенькинской трассе, которая огибает область с южной стороны и вновь вливается в Ягодном в главную дорогу. В последних числах августа и начале сентября стояла дикая жарища, в автобусе все задыхались. Пьяненький мужичок орал на весь автобус: «А по бокам-то все косточки русские! Кайлом и лопатой дорогу рубили!» Вдоль дороги – остовы заброшенных лагерей – пустые пространства, обнесенные колючей проволокой, иные с полуразрушенными вышками для часовых, бараков почти нигде не осталось. Вместо них – гигантские резервуары с горючим, выкрашенные серебряной краской.

Усть-Омчуг – сравнительно цивильный поселок с приличной гостиницей, Домом культуры. В свою очередь из роно меня направили в поселок Нелькоба, где открылась восьмилетняя школа.

Это был удар ниже пояса.

Начиненный классикой, я полагал, что начну сеять Грибоедова, Пушкина, Лермонтова, Толстого – а тут извольте проходить в 5-м классе заезженные басни Крылова и массу какой-

то советской муры, в 6-м – совершенно непонятный современным детям «Бежин луг» с дурацкими вопросами ученых-методистов; убогую мыслью «Как закалялась сталь» спустили из 10-го класса в 7-й. Хоть за это надо поблагодарить составителей школьных программ. Нас, возвышенных классикой, после «На дне» и Маяковского уронили в Николая Островского и Фадеева, над которым только и оставалось что издеваться. Помню, как мой одноклассник, не лишенный актерского дара, встал на стул и завыл «Лирические отступления» из «Молодой гвардии». Правда, теперь в том же седьмом оказались «Ревизор» и «Капитанская дочка».

Вид у меня, когда я с огромным рюкзаком и чемоданом вылез из автобуса, был, наверно, тот еще. Директриса, которая водила школьников рассматривать травы и кусты (она биолог), сразу просекла, что приехал москвич или ленинградец. Сама-то она из-под Курска, со станции Узловая. Была она сравнительно молода, на восемь лет старше меня, но страшна, как смертный грех, – тощая, с вывороченными губами и злыми выпуклыми глазами. Класс, в котором она вела уроки, украсила портретом уже год как публично разоблаченного душителя науки «народного академика» Лысенко.

Поселок Нелькоба, где я провел учебный год, располагался в завершении многокилометровой долины реки Кулу, упиравшейся в сопку. Посему западные ветры скручивались здесь в небольшой, но ощутимый смерч. Самый сильный мороз при мне достиг –64°, в тот день я пришел, дыша сквозь шарф, в столовую, и меня тут же стали оттирать снегом – щеки, нос, уши. При температуре от 45° и ниже в юго-восточной части неба образуется радужный столб. Самые тяжелые морозы – вовсе не рекордные, стоявшие при полном штиле, а за 50° с ветерком, злым и колючим.

Основное – впрочем, и единственное предприятие в поселке Снаббаза: склады и мастерские, обслуживающие Тенькинскую трассу запчастями большегрузных «Татр» и «МАЗов». В поселке полтораста домов, включая два жилых барака, около пятисот жителей.

Свои ладони в Волгу я опускал в Ярославле, Костроме, Нижнем Новгороде, в деревне Устье. Но довелось опустить их и в воды Колымы. Купаться не рискнул, просто умылся. Детей привезли на уборку капустных полей у прииска Дусканья на берегу Колымы. Прииска давно не существовало – золото вычерпали, и теперь на его месте был совхоз. Другой совхоз – птицеводческий – располагался в поселке Верхний Бутыгычаг, там на урановых рудниках был один из самых страшных лагерей ГУЛАГа, подробно описанный уцелевшим зэком Анатолием

Жигулиным в книге «Черные камни». Единственное кирпичное здание в Бутыгычаге – холодная, лагерный карцер, как мне объяснил кто-то из местных жителей, отбывавший там заключение. А по лагерным баракам, хорошо утепленным, кудахтали мирные курочки.

Родители моих учеников – в основном отбывшие срок полицаи и бендеровцы с Украины, несколько – из приехавших с материка «за длинным рублем», а выбившиеся в начальство – отставники из лагерной вохры. К лету 1956 года все лагеря были ликвидированы, но полицаи не рвались на родину: были нередки случаи, когда их ждал самосуд при возвращении. Женщины попадали в эти края «за колоски» – подобранные в голодные годы колосья ржи с колхозных полей.

Был у меня родитель двух вполне успевающих учеников 5-го и 7-го классов, бухгалтер Снаббазы. Как-то ввалился ко мне пьяный с исповедью, как он ненавидит советскую власть и сейчас бы с удовольствием вешал жидов и коммунистов. С такими людьми чувствуешь себя патриотом и как-то сами собой пропадают «клеветнические измышления», которыми полна голова. Хотя жил я там без транзистора, Советский Союз демонстрировал самые антисоветские свои качества, так что я и без Би-би-си знал всему цену. А тут еще в «Известиях» разоблачили хорошо мне известного и весьма уважаемого критика Андрея Синявского и его подельника Даниэля, книгу которого я четверть века спустя первым в Советском Союзе выпущу в свет.

Жил я рядом со школой в домике с террасой, построенной покоем, на которую выходили три двери: справа в мою комнату, слева – в директрисину, а в центре располагалось поселковое отделение ДОСААФ, где в сейфе хранились две винтовки для обучения стрельбе. Меня поселят туда на неделю, когда батарея в комнате откажется топить, не выдержав мороза в –64°. Очень интересное в этой связи явление. Я жил довольно открыто в прямом смысле этого слова: без замка. И оставлял свою комнату даже на выходные, если отправлялся в Усть-Омчуг. И ничего. А вот едва переселился в соседнюю комнату – на второй день сперли сетку с луком (самый ценный в тех краях продукт), а еще через день – рюкзак, правда, пустой.

До двадцатых чисел сентября по утрам бегал умываться в речку, давшую название поселку. Вода в ней была прозрачна и холодна. Дно песчаное, возможно, и с крапинками золота.

Комнатка моя была маленькая, в холода пар изо рта достигал противоположной стены. Помещались там раскладушка, маленькая тумбочка, служившая письменным столом, и громадный деревянный ящик – стол обеденный.

В холодильниках, понятное дело, нужды не было: мясо было достаточно вынести на улицу. Купил я как-то большую банку югославской ветчины, вкусом напоминающей американские консервы моего военного детства. Однажды приходят ко мне мои семиклассники:

– Михаил Константинович, а к вам горностай повадился.

И показали следы изящных лапок.

– Можно, капкан поставим?

Нет, говорю, мне для такого красавца никакой ветчины не жалко. А горностай действительно красив. Белый хвост с черненьким кончиком едва ли не больше туловища. За пять или десять – за точность не поручусь – шкурок зверька, сданных в кооператив, можно было получить право купить «Спидолу» – первый советский транзисторный приемник, годный для прослушивания вражеских голосов. Мне это счастье было недоступно, довольствовался трехпрограммником. В тот год был в моде японский шлягер «А над морем, над ласковым морем». Для меня это была пытка песней, ее могли в течение дня прокручивать по всем программам: московской, магаданской и дальневосточной «Тихий океан».

Летние каникулы, как известно любому учителю, напрочь выветривают все полученные в прошлом году знания. Первые пробные диктанты привели меня в ужас неописуемый. Особенно в шестом классе. По общеизвестной разнарядке двойку полагалось ставить при четырех ошибках, шесть – уже кол. Так вот, в иных работах число ошибок зашкаливало за сотню. Школа работала в две смены, обе заполнены до отказа русским языком и литературой, и все же пришлось выкроить час между сменами для дополнительных занятий по русскому языку. Ближе к Новому году стали появляться четверки.

И все же были ребята, в головах которых правила правописания произвели такой сумбур, что один подписывал тетрадь в родительном падеже так: «тетрадь Ипполитого Сергея». Другой превратил постоянный эпитет для великой реки в какой-то немыслимый глагол, написав: «Волга – красавется». Но труднее всего было с восьмиклассником эстонцем. Его угро-финское сознание никак не попадало в такт русской гибкой речи.

Все же с этим как-то удалось справиться, и даже Ипполитов написал выпускное для восьмиклассников изложение на твердую тройку. Хуже было с литературой. Почти всю первую четверть не мог совладать с дисциплиной. В окнах – приплюснутые носы родителей: им приятно смотреть, как детки издеваются над московским учителем. Но вот однажды, дежуря в интернате для ребят из соседних поселков, стал читать им киплинговского

«Маугли» – книжку эту с иллюстрациями Ватагина только что купил в райстолице. Интернатским стали завидовать местные, и тогда я перенес чтение на урок. В журнале же отмечал знакомство с дидактической повестью Н.Дубова «Огни на реке» про девочку, помогающую родителям.

Еще интереснее было в 7-м классе, когда вторая четверть началась изучением «Капитанской дочки». Я тоже стал ее читать вслух. И тут сказалось коварство пушкинского текста. Каждая глава при чтении укладывается почти в урок, сорок пять минут. Мало того, на это произведение дано всего несколько, не то пять, не то семь, часов. А остановиться, раз начал, невозможно. Тут ведь, читая, обнаруживаешь тонкости, которых не разглядел раньше. К примеру, как царская комната Пугачева оклеена золотой бумагой. Кстати, эти мои нечаянные открытия уловили и ученики, когда на последнем уроке наспех провел опрос, а оценки раскидал по разным числам минувшей четверти.

В восьмом классе, когда проходят синтаксис, мне понадобились примеры употребления таких экзотических знаков препинания, как двоеточие, тире и точка с запятой. И тут я как первый раз в жизни открыл для себя «Героя нашего времени». Это убеждение будет крепнуть и дальше с каждым новым прочтением: ничего лучше, изящнее и глубже на русском языке написано не было. Второе мое открытие того года – Андрей Платонов. У меня была книжка его рассказов, изданная году в 1958-м, которая не произвела никакого впечатления: и выбрано не самое лучшее, и сам я, вероятно, не дорос. А тут покупаю в Усть-Омчуге огромный синий том «В прекрасном и яростном мире». В заглавном рассказе обнаруживаю захватывающее описание вдохновения ослепшего машиниста. Восторг и трагедия в одном миге – кто бы смог подступить к такой теме? «Ценностей незыблемая скала» пошатнулась, рухнула, а на ее месте воздвиглась новая. Ее вершину в XX веке занял Андрей Платонов.

Из райцентра несколько раз наезжала комиссия. Особая резолюция – «О дисциплине учащихся на уроках литературы». Главная методистка – из типичных советских училок – грузная дама в черном жакете с ромбом, как академический: «Отличник народного просвещения РСФСР». Она дала мне такой дружеский совет:

– У вас должен быть активчик. Вот у меня в Новгородской области была девочка, которая все-все мне рассказывала. К примеру, принес шестиклассник карты. Я, чтоб не выдавать ее, говорю о другом: «Иванов, говорю, ты курил на перемене. А ну, выворачивай карманы, где там у тебя папиросы?». Он-то думает, что я папиросы ищу, про карты и не вспомнил, тут они и

вывалились!».
Как-то тошно стало от такого торжества добродетели. Собственными руками придушил бы эту «отличницу народного просвещения».

Раз в неделю в клубе показывали кино. Самой большой популярностью пользовались фильмы студии имени А.Довженко – украинцы в населении Нелькобы преобладали. Мне смотреть эти колхозно-производственные поделки было неинтересно: дома с книжкой как-то увлекательней. Но один раз мне выпал нечаянный праздник. Разнарядка, в силу которой распространялись картины по городам и весям нашей отчизны, мало считалась со вкусами публики. И вот как-то раз в наш клуб завезли «Земляничную поляну» Ингмара Бергмана. К середине сеанса я остался единственным зрителем.

Мое пренебрежение киноискусством не осталось незамеченным. Наши учительницы младших классов подверглись настоящему допросу в райкоме комсомола. Первый секретарь прицепился к ним:
– А что делает ваш Холмогоров, когда люди кино смотрят? Может, пьет? Или со старшеклассницами развратничает?

По пятницам топилась поселковая баня. Я в ней едва не стал уродом. Городского жителя надо обучать самым элементарным вещам. В бане увидел, как мужик поддал пару, плеснув из ковша на каменку. Через несколько минут попробовал сам. Чудом успел укрыть лицо, но шрам от ожога на руке не проходил несколько месяцев. Из банных впечатлений самое сильное – татуировка на животе у работяги кавказской внешности: «Всю жизнь на тибя работаю утроба». Все хотелось попросить поставить запятую перед обращением. В баню я ходил, как правило, со Стасом – своим коллегой, преподавателем физики и физкультуры. Естественно, после баньки тянет пивца попить. Благо, в Магаданской области оно исключительное. Рассказывали, что начальник Дальстроя Никишов был большим любителем этого напитка. А посему извлек из «общих работ» директора Ярославского пивзавода, знавшего какие-то особые технологические секреты, с тем чтобы тот наладил производство на месте. Вот и попиваем со Стасом это черное пиво. Наутро директриса выговаривает:

– Звонили из районо. Им просигнализировали: «У вас учителя пьют».

Может, по молодости, может, по присущей мне безалаберности, но я довольно легко перенес и колымские морозы, и бытовые неудобства, а вот чего москвичу перенести невозможно, так это публичности своего существования в

малонаселенном пространстве.

Стас личностью был своеобразной. На Колыму его привела необыкновенная алчность. Он, конечно, первым делом пристроился к золоту. Работал и в старательской бригаде, и старателем-одиночкой с лотком. Оказалось в итоге крайне невыгодно: грамм золота в бригаде оплачивался в 1 рубль 10 копеек; одиночке давали 90 копеек. Стоило напасть на жилу, государство тут же отстраняло частников и устанавливало драгу. В ноябре, когда завершался сезон, золото сдавали, но очень часто в сберкассах не хватало денег, чтобы оплатить труд старателей: едва ли не до весны сидели на золоте без копейки. Жизнь у них была чемоданная: вот сдам золотишко, получу денежку – и на материк! Редкий старатель долетал до Хабаровска – все пропивалось еще на пути в Магадан.

Однажды Стас рассказывает сон:

– Представляешь, стою посреди большого зала в банке. И со всех сторон на меня сыплются деньги: все карманы набил, сумку какую-то. Уже и тары не хватает, а они сыплются, сыплются… Утром вскакиваю – ну, где ж они, мои денежки?!

Такими были будни. А выходные я проводил в райстолице в семье начальника местной метеостанции. Он потом как-то признался, что заботу обо мне ему поручили в райкоме партии после моей лекции о Есенине, когда я чуть не стал районной знаменитостью.

Вообще-то опыт публичных выступлений у меня был небогатый, но отрицательный. В школе я провалился с чтением «Песни о Гайавате», когда на сцене вдруг напрочь вылетели из памяти любимейшие строки. А потом, уже в институте, одного популярного поэта на его творческом вечере в пух и прах мой однокурсник разнес за конформизм. Меня охватила эмоциональная волна, и я тоже вылез…

А дело было в 9-й аудитории МГПИ, вмещавшей целый курс полным составом. Я глянул в зал – черная бездна внимающих глаз гипнотически уставилась на меня, кролика, анакондой. И я захлебнулся в каком-то жалком лепете – язык прилип к нёбу, мысли, такие убедительные, складные, вдруг испарились, пылкая эмоция растворилась в цепенящем ужасе. Провал катастрофический.

Зато 3 октября 1965 года я пережил подлинный триумф. До Колымы через год после падения Хрущева докатилась его идея организации народных университетов культуры. Вот таковой и открывался в Усть-Омчуге, и начальству захотелось, чтобы литератор из Москвы прочитал лекцию о Есенине, минут на сорок.

Я попросил пятитомник и какую-нибудь монографию. Прислали и пятитомник, и книгу. Книга понадобилась, чтобы наметить биографические вехи, которые помнились очень смутно. Я отлюбил Есенина с четырнадцати до шестнадцати лет (помню, как истово уверял в ночной очереди на Клиберна одну мудрую женщину, что никогда не разлюблю этого поэта, только-только признанного после десятилетия запрета, очень ее этим развлек). В XX веке русские люди чаще всего приходят к поэзии через увлечение Есениным. Увы, на этом интерес к стихам и завершается.

Поскольку моя школьная загрузка составляла 33 часа в неделю (при норме 18) да плюс поездка в выходной день на уборку капусты в совхоз Дусканья, к утру 3 октября все заготовки укладывались по часам минут в семь. С этим я и приехал в Усть-Омчуг, где общественность захотела услышать от меня предварительную лекцию. Быстро исчерпав написанный текст и повергнув тем самым общественность в ужас, я потребовал щетку для одежды и ботинок (в тот год на Колыме – жесточайший дефицит), кофе и покоя, изложив им в утешение план дальнейшей лекции. Очень интересное предложение они сделали:

– А что, Михаил Константинович, если по вашему выбору пионерка выучит наизусть стихи Есенина и тем самым проиллюстрирует вашу лекцию?

– Нет, Есенина буду читать сам.

В гостинице лихорадочно строчил текст лекции и отмечал закладками стихи, которые намеревался прочитать. К исходу дня текста оказалось на пятнадцать минут. А продержаться надо сорок.

Прихожу, выводят на сцену – широченный стол с красным сукном, все районное начальство за столом, а что в зале!!! Люди стоят в проходах, кому не досталось места, высовываются из фойе. Это ж Колыма! Здесь живут бывшие зэки – самые последовательные и горячие поклонники Есенина независимо от статьи УК: блатные переложили на песни уйму его стихов, для 58-й он гонимый. И опять, как тогда в 9-й аудитории, эта черная пожирающая пасть. Но мне уже подсказали прием, и я им воспользуюсь: смотреть на кого-то одного и как бы именно ему и читать всю лекцию. А у меня и сюрприз заготовлен. Назначившие открытие университета на первое воскресенье октября не догадались, что это день рождения героя, да не простой, а юбилейный: семьдесят лет.

И я, отложив написанный текст, чтобы оттянуть время, начинаю с этого подарка судьбы, под аплодисменты предлагаю именем Есенина назвать наш народный университет культуры, и

только потом перехожу к сути дела.

Давно освоенный поэт легок для изложения, мне достаточно много в нем понятно, и я чувствую, что аудитория в большинстве своем Есенина боготворит своей блатной сентиментальной любовью. Заодно вспоминаю приемы устного чтения и слышанный на пластинке голос поэта с записью «Монолога Хлопуши» и «Семерых ощенила сука» с мощным истерическим надрывом, каковой и воспроизвожу. Что я нес – хоть убей, не мог вспомнить и через минуту. За прочитанным стихотворением вел импровизированную цепь вольных ассоциаций. Может, и ахинею. Однако ж нес вдохновенно, как Остап Бендер шахматную лекцию в Васюках или Джефф Питерс, кого-то профессионально магнетизирующий. Но хорошо помню ощущение, как моя магия расширяется и я полностью контролирую, веду за своей вспыхивающей мыслью весь зал.

Я продержался полтора часа.

Должны были привезти из Магадана пленку с записью Есенина. Машина задерживалась, и я заполнил еще полтора часа, бойко отбивая все вопросы. Были и такие: что ж Маяковский после стихов «На смерть Сергея Есенина» сам застрелился?

Имя Есенина над усть-омчугским Народным университетом культуры продержалось две недели. Главный редактор районного радио бывший зэк товарищ Безбабичев наябедничал на меня в райком партии: протаскиваю, дескать, поэта, которого по заслугам осудила партия. А мне урок: не все жертвы сталинского режима ангелы.

После триумфальной лекции о Есенине мне вручили удостоверение члена Всесоюзного общества «Знание», которым я ни разу в жизни не воспользовался. Мне в голову не приходило, что можно по командировкам этого общества читать лекции за гонорар в 14 рублей. Любопытно, что руку мне жал, передавая зеленую книжечку, районный прокурор – именно он возглавлял отделение этого просветительского общества.

Есенинская лекция имела еще одно следствие. Меня пригласили в отдел пропаганды райкома, и добрая тетя, заведующая отделом, предложила духовно окормлять научным атеизмом поселок, в котором обитали не то свидетели Иеговы, не то духоборы. Я попросил выписать мне из областной библиотеки Библию. Они ж ее наизусть знают и в споре побьют. На этом разговоры кончились и больше с подобными предложениями ко мне не обращались.

Надо прожить целую зиму в снежных сопках, чтобы увидеть чудо: зеленый выдох природы, когда грязно-бурые склоны вдруг оживают распустившимися на глазах лиственницами, выпустившими робкие, нежные иголочки. Обычно это происходит

ночью: заснули в одном пейзаже, проснулись – будто в другой стране. Но в тот год весеннее преображение случилось днем, и я наблюдал эту роскошь до самого заката.

В конце мая из-под снега выпростались дары природы – брусника и голубика. Брусника совсем не такая, что у нас в августе: кожица хрупкая, как у перезрелой клюквы, и вкус особый, как внутри пирога, испеченного в духовке. А голубика за зиму накапливает алкоголь, съешь стаканчик ягод – будто хорошего портвейну выпил.

В так называемом «знании жизни», за которым и отправлялись мои сверстники черт-те куда, Колыма не дала мне почти ничего – когда у тебя загрузка в две смены, мало что успеваешь заметить вокруг себя. Гораздо ощутимей суровая реальность прошлась по моим бокам в те два года безработицы, что наступили по возвращении в Москву. Сейчас, когда пролетела довольно долгая жизнь, оставив, как крупинки просыпавшегося песка на ладони, самые яркие впечатления, я вижу долгую дорогу через всю Россию по Транссибирской магистрали и северо-восточным морям.

Елена Холмогорова Вид на революцию из окна

1

Я родилась в центре столицы, где и живу по сию пору. Правда, из моего окна на шестом этаже уже не видно, как раньше, куска старой Москвы. Сначала пресловутая точечная застройка лишила нас части двора с огромными липами и тополями, где появилась формально «пристройка» к нашему конструктивистскому, конца двадцатых годов прошлого века дому, оказавшаяся почти вдвое выше его. Потом после нескольких лет строительного шума и мусора якобы реконструкция соседнего доходного дома заставила смотреть на новорусский бельведер, очевидно, срисованный неизобретательным архитектором с Юсуповского дворца в Архангельском, но, как нынче водится, нелепо венчающий перекореженный, с полусохраненным старинным фасадом и пропорциями, погубленными надстройкой, один из самых дорогих домов новой Москвы. Для довершения чуда на приличном удалении от нас, на Беговой, выросли монстры, нависающие над Третьим транспортным кольцом и загородившие далекую перспективу в западном направлении. Единственная утешительная новостройка – колокольня церкви Большое Вознесение, появившаяся несколько лет назад. Взгляд отдыхает на ней, проникая в просвет между домами. Самое интересное, что она не восстановлена, а выстроена заново. Говорят, колокольня была в первоначальном проекте, но приземистая церковь, не примечательная в эстетическом плане и знаменитая главным образом тем, что там венчались Пушкин и Наталья Николаевна, о чем напоминает убогий фонтан с карикатурными фигурами поэта и его супруги, воздвигнутый к двухсотлетнему его юбилею, как-то обходилась без нее. Так вот колокольня оказалась чрезвычайно гармонична и сильно скрасила архитектурную заурядность храма.

И только из одного окна, если посмотреть чуть левее, вид остался прежним.

Там возвышается увенчанный триколором Белый дом.

Даже странно, что так было не всегда. Ни трехцветного флага применительно к России (естественно, после 1917-го), ни названия «Белый дом», кроме как для вашингтонского, до 1991 года мы не знали. Да и слово «путч» в зависимости от поколения вызывало ассоциации либо с Испанией, либо с Чили.

19 августа рано утром мне позвонили. Думаю, так было у

многих: «Включи радио». Я ночевала в Москве, в родительском доме, а моя семья оказалась разбросана по разным местам Подмосковья. Сейчас не вспомню, как в отсутствие мобильных телефонов мы связались друг с другом, но первая мысль была: «Надо быть всем вместе. Неважно где, но вместе». Мама ехала в город по Минскому шоссе, забитому танками. Муж и дочь – на электричке. Жива еще была моя няня, радио как раз стояло в комнате, где она спала. Тетя Паня очень удивилась и задала всего один, но для нее, пережившей сорок первый год в брянской деревне, естественный вопрос: «Не война?» И, успокоенная моим отрицательным ответом, перевернулась было на другой бок, но потом спохватилась: «А эвакуации не будет?» Что я могла ей ответить? Если бы я сказала «разве что эмиграция», едва ли она поняла бы меня.

В тот день были сороковины моего отца. Мы с няней резали салаты, и она, видя мое состояние, все утешала меня, говоря, что папа теперь с ангелами на небесах.

Нет, я не была на площади перед Белым домом. Ни в тот день, ни на следующий. Большинство считает постыдным признаться в этом – как же так, не встать на защиту демократии! А я не стыжусь. Я не герой. И мне было страшно…

Сколько лет прошло, а я до сих пор вспыхиваю, когда при мне говорят, что сразу было ясно, что все это-де фарс и не продлится больше трех дней. Я жила при этом, не надо мне рассказывать сказки! Всё было страшно, непонятно, тревожно.

Впервые в нашем интеллигентном доме шло застолье при включенном телевизоре. А на кухню то и дело выходили послушать «Эхо Москвы».

Объявили комендантский час с десяти. Гости заторопились уходить. Мама и няня начали убирать со стола, а мы пошли домой. От Брюсова переулка до переулка Скатертного минут двадцать ходу.

Прохожих на улице почти не было. Зато у здания ТАСС замерли два танка. У Никитских ворот, прямо у Большого Вознесения, еще не украшенного колокольней, стояли «Жигули» со спущенным колесом. Мужчина прикручивал запаску, а женщина и мальчик лет семи топтались рядом. Я лишь скользнула по ним взглядом. Но когда наши старинные настенные часы пробили десять, меня буквально затрясло. Мирные обыватели, как говорили в старину, не вкладывая в это слово никакой отрицательной семантики, ехали домой и вдруг – колесо! А тут комендантский час! Как я могла не позвать их к себе! Всегда в острые моменты жизни зацикливаешься на каких-то мелочах, деталях – это известно. И я поняла, что если кого-то

застрелит патруль этой ночью, буду чувствовать себя убийцей.

Хорошая забава – всем рекомендую – попытаться назвать, например, десять самых счастливых дней в своей жизни. Или сто. Или пять. Я пробовала. В десятку таких 22 августа 1991 года входит точно. Сколько надежд он вместил… Муж и дочка были на том митинге, когда толпа стала народом, а двойник многометрового трехцветного полотнища, которое колыхалось в первых рядах, взвился на флагштоке Белого дома. А я пошла на работу. Редакция «Знамени» тогда была на Никольской улице. Или она еще носила гордое имя улицы 25 Октября? (И как люди пишут мемуары?! Да подробно, убедительно, с прямой речью. Стоит попробовать самой, мгновенно утрачиваешь к этому жанру доверие. Разве что у других память получше. Но я не мемуары пишу, вспоминаю то, что ярче всего въелось в сознание.)

Под вечер кто-то прибежал с улицы: «Памятник Дзержинскому валят!» Выскочили на площадь. Помню, как первое время после переименования люди вздрагивали, слыша в метро «Следующая станция “Лубянка”». А теперь привыкли. У железного Феликса на груди болтался самодельный огромный плакат: «Хунте хана». В толпе сновал иностранный корреспондент, вероятно немец, обвешанный фотоаппаратами, и растерянно спрашивал всех подряд: «Вас ист хана? Что есть хана»? Я отмахнулась от него: «Хана есть капут!». Он понимающе закивал.

«Надежда – хороший завтрак, но плохой ужин», – сказал Френсис Бэкон. Как трудно теперь переваривается этот ужин…

2

Прошло два года, и наступил октябрь 1993-го. И, как ни странно, причуды ассоциативного мышления у меня прочно связали «расстрел» Белого дома с добрыми милиционерами, школьными уроками физики, Михаилом Афанасьевичем Булгаковым, Александром Трифоновичем Твардовским и Анной Андреевной Ахматовой.

Сейчас ход событий подзабылся, зато иные детали, отстоявшись, проступили еще ярче. В день, когда противостояние между Ельциным и парламентом уже приближалось к точке кипения, я шла к дому от метро «Баррикадная». Станция в очередной раз готова была оправдать свое название: вокруг было неспокойно. Люди с красными бантами на куртках и пальто, собравшись кучками, бурно обсуждали план грядущих боевых действий. Час пик уже миновал, и центр города, давно превратившийся в скопище офисов, практически вымер. Он еще раз ненадолго оживет, когда закончатся спектакли и концерты, но до этого еще не меньше часа. А сейчас каждый человек на виду. Я поймала себя на том, что стараюсь идти, прижимаясь к стенам

домов, чтобы быть незаметнее. Однако моя одиноко спешащая фигура явно дисгармонировала со всеобщим единением, а потому неизбежно бросалась в глаза. Ко мне подскочил невысокий плотный мужичок, показавшийся мне необыкновенно уродливым, наверное, от страха и внезапно накатившей брезгливости, схватил меня за рукав и закричал, тыча пальцем мне в живот: «Вот все из-за таких, как ты! Молодая, здоровая, и равнодушно идешь мимо!» Через мгновение я оказалась в плотном кольце. Подошел милиционер – совсем молоденький, почти мальчик, с автоматом на груди. «Да отпустите вы женщину», – сказал он мирно, сразу поняв ситуацию. Соратники переключили весь гнев на него: «Лучше не лезь, будь ты проклят!» – «Да, – подхватила кликуша в розовой вязаной шапочке, – и дети твои пусть будут прокляты!» Милиционер сжал автомат, и я с ужасом физически ощутила, что он не игрушечный. В это время, на мое счастье, раздался усиленный мегафоном командный голос: «Товарищи! Все на Садовое кольцо! Возьмемся за руки, перекроем его, и жизнь в Москве замрет!» Воодушевленные заединщики, вмиг утратив ко мне всякий интерес, кинулись к проезжей части. Я перевела дух и уже не таясь рванула в том же направлении. Вовсю гудели машины, медленно пробираясь сквозь толпу. Потом я поняла, что народу было не так много, человек сорок, но в тот момент они казались массой. Меня опять схватили за рукав и потянули в цепь. Я вырвалась и подбежала к милиционеру – на этот раз здоровенному мужику. «Помогите, пожалуйста, вон там, – я показала рукой, – мой дом!» И он, как дядя Степа из детской книжки, перевел меня на другую сторону…

Когда я вошла в переднюю, часы пробили девять. Кот радостно начал тереться мне об ноги, а муж спросил: «Чай пить будешь?» И горела старинная лампа под серебристым абажуром. Здесь был мой привычный, уютный мир, а в нескольких сотнях метров – война. Самая страшная. Гражданская. «Никогда. Никогда не сдергивайте абажур с лампы! Абажур священен!» Это Булгаков, «Белая гвардия», абажур как символ турбинской квартиры, устоявшегося быта и бытия. Страшный контраст озверевшей толпы, хаоса и непонимания и простого человеческого счастья.

В новостях было сказано одной фразой о неудавшейся попытке перекрытия Садового кольца.

Утром вышла во двор и обомлела: вокруг мусорных баков образовалась настоящая свалка. Сегодня машины не пускали в центр! Да, опять Булгаков, теперь «Собачье сердце»: «Если я, ходя в уборную, начну, извините меня за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной получится разруха. Следовательно, разруха сидит не в

клозетах, а в головах!»

В булочной была непривычная очередь. Брали хлеб в запас. Но не это удивило меня больше всего. Очередь глухо, напряженно молчала. В России так не бывает, особенно в неспокойное время. А тут мало кто мог разобраться в действительно сложной политической ситуации. Годы спустя все еще будут ломать копья, и даже вроде бы близкие по взглядам люди до сих пор разделены незримой чертой по отношению к тем событиям, и число жертв разнится от нескольких человек до «гор трупов». Но я не о политике. А лишь о том, как очередь за хлебом молчала, потому что в гражданской войне граница «свой – чужой» не видна простым глазом.

По телевизору шел прямой репортаж компании CNN от Белого дома. На мосту через Москва-реку собралась толпа зевак, а танки уже нацелили свои хоботы на дом с развевающимся трехцветным флагом. Почему-то вспомнилась потрясающая по своей точности строчка из «Василия Теркина»: «Вдруг как сослепу задавит, ведь не видит ни черта». Но солдаты в железном чудище все видели и знали цель, хотя журналисты говорили, что бьют холостыми.

Каждый залп я слышала два раза. Сначала глухой удар раздавался из окна, а через несколько секунд повторялся в телевизоре. Что-то из школьного курса физики, не то скорость распространения звуковых волн, не то застрявшая в памяти какая-то отвеченная на уроке и напрочь забытая интерференция.

На этот раз страшно не было, а только липко и противно. Там, где валил черный дым, тоже дважды повторенный оконным стеклом и экраном, не было ничего моего, мне нечего было защищать, мне не за что было переживать. Кроме как в очередной раз за свою не желающую спокойно жить Родину. Ахматовские слова, увы, актуальны вновь и вновь:

И это станет для людей
Как времена Веспасиана,
А было это – только рана
И муки облачко над ней.

Елена Холмогорова Послесловие, или Двадцать пять лет спустя

Вот уж не думала, что вернусь когда-нибудь к этому сюжету. Он казался завершенным: книжка [1] вышла, одобрительные отклики были получены, интерес мой постепенно переместился в другие области. Конечно же, я неравнодушно проходила и проезжала по улице, которая в свою пору была исхожена вдоль и поперек, год за годом отмечая перемены вывесок, надстроенные дома, шлагбаумы, перегородившие въезды в когда-то проходные дворы. А с этим домом каждый раз про себя здоровалась, потому что никто на белом свете не знал о нем больше, чем я.

Двадцать пять лет – срок немалый. Прежде всего, другой стала я, но и страна поменяла очертания, а улицы той даже на карте Москвы не найдешь. Хотя, надо признать, улице повезло: ее счастливо миновали революционные переименования, не стала она ни Пролетарской, ни Коммунистической, не увековечила в очередной раз Карла Либкнехта или Степана Халтурина, а гордо несла на своих табличках фамилию великого русского писателя Чехова. Более того, в отличие от многих московских улиц, названных безо всякого смысла, совершенно случайно, здесь присутствие Антона Павловича было оправданно.

Даже сейчас, обходя в самых разных районах Москвы металлические ограждения, я подмигиваю объявлению ОАО «Горнопроходческих работ № 1». Более того, даже испытываю некоторую гордость, будто имею хоть какое-то отношение к мощной технике, буравящей московский асфальт, чтобы люди могли спастись под землей от машин, а не топтались в дождь и стужу у края мостовой в ожидании зеленого сигнала светофора или, хуже того, кидались, озверев, наперерез бездушному железному потоку.

А тогда… Украдкой, «аки тать в нощи», стараясь ступать как можно тише, я жалась к облупленным стенам неширокого, типично учрежденческого советского коридора. Глаз мой жадно шарил по сторонам, пытаясь уловить контуры, знакомые по архивным планам. Однако бедное мое воображение отказывалось оживлять тени прошлого. Чего я боялась? Почему смело не шагнула в приемную главного начальника, не сообщила секретарше тоном, не предусматривающим отказа: «Я занимаюсь историей этого дома, мне необходима помощь вашего руководства»? Не знаю. Может быть, была молода и глупа? А может быть, боялась неверной реакции? Как бы то ни было, я

сама себя наказала. Первый визит был безрезультатным, но обошелся без последствий. Во второй раз меня засекли бдительные сотрудники, и в кабинет руководства я вошла едва ли не под конвоем, сопровождаемая шепотком: «Все что-то высматривает, вынюхивает, во все углы заглядывает…» Начальник был любезен, я предъявила документы, уверила его в абсолютной безопасности моих намерений. Мне было обещано полное содействие, а я в ответ предложила рассказать сотрудникам о замечательном прошлом их рабочего места.

Горнопроходчики в тот день закончили свои дела на час раньше и собрались в зале, куда обычно приходили на профсоюзные и открытые партийные собрания. Слушали меня внимательно. Я начала с того, что Малая Дмитровка – одна из старейших московских улиц – по-современному говоря, магистраль между исстари важными русскими городами. Об этом свидетельствует и название самого древнего из сохранившихся зданий – церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Путинках, или, как еще говорили, «на путях», построенной в середине XVII века. Местность эта находилась в так называемом Земляном городе и была занята различными торговыми и ремесленными слободами. Участок, на котором стоит дом 12, много раз переходил из рук в руки. Среди его владельцев, например, «капитана Степана Иванова сына Змеева жена вдова Авдотья Афанасьева дочь», «коллежский асессор Илья Иванов сын Беляев» и другие. С начала XIX века цепь владельцев уже выстраивается полностью. Почти все столетие он принадлежит дворянскому семейству Шубиных, с 1895 года переходит в руки князя Владимира Оболенского, но вскоре становится собственностью коммерции советника А.Е.Владимирова, который был его хозяином до 1917 года.

Я с увлечением рассказывала, что пересмотрела горы планов в Московском городском историко-архитектурном архиве, Центральном государственном историческом архиве города Москвы. Чтобы развлечь моих слушателей, призналась, как по дороге туда заходила в аптеку пополнить запас таблеток – у меня обнаружилась аллергия на бумажную пыль, и мое громкое чиханье то и дело оглашало тишину архивных залов. Но все усилия и муки были вознаграждены. Я узнала, что уже в самом начале XIX века владение имело сегодняшние очертания и размеры, и на плане 1806 года нанесены два каменных строения – сегодняшние боковые флигели и центральный корпус – деревянный, но имеющий ту же конфигурацию, что и реальный дом сегодня.

Нашествие Наполеона и пожар Москвы в 1812 году

уничтожили более 90 процентов домов на Малой Дмитровке. Но дальше открылась вещь поразительная. Как ни странно звучит «типовой дом первой трети XIX века», но только благодаря тому, что существовали альбомы «образцовых» проектов жилых домов, строительство шло быстрыми темпами. Проект каждого дома необходимо было утвердить в строительной комиссии, которая, кстати сказать, выдавала ссуды и продавала застройщикам кирпич и лес дешевле, чем у других торговцев. Руководство «фасадической частью» было возложено на знаменитого мастера Осипа Ивановича Бове, и все чертежи прошли через его руки. «Типовые» тогда вовсе не означало «одинаковые»: разнообразие новым домам придавали арки, колонны, портики и другие архитектурные детали. Как знать, быть может, и на проекте нашего особняка великим архитектором были сделаны какие-нибудь изменения или дополнения! Вообще, чтобы представить масштабы работы, достаточно сказать, что только в 1813 – 1816 годах в Москве было построено 4486 деревянных и 328 каменных домов.

К сожалению, мне почти не удалось найти сведений о внутренней планировке дома, неоднократно подвергавшейся изменениям. Единственное, что можно утверждать, – парадные комнаты располагались во втором этаже и выходили окнами на улицу, скорее всего, растянувшись анфиладой. Жилые помещения смотрели во двор и занимали мезонин. Конечно же, в сегодняшнем обиталище служебных кабинетов немногое напоминает обстановку дворянского особняка. Но вы каждый день привычно поднимаетесь по широкой лестнице с изящной балюстрадой, оглядываете себя в полный рост в зеркале… А если оторвать глаза от чертежей и документов, на потолке можно увидеть лепнину: цветы, венки, женские головки.

Но знаменит этот особняк стал прежде всего не своими архитектурными достоинствами, а людьми, в разное время становившимися его обитателями.

Здесь мне все чаще приходилось скашивать глаза на часы, лежавшие по лекторской привычке на столе. Потому что о Михаиле Федоровиче Орлове я могла бы говорить не один час. Герой войны 1812 года, тот самый генерал, чья подпись стоит под условиями капитуляции Парижа. Во время выступления декабристов Михаил Федорович был в Москве, но известно, что в планах заговорщиков ему отводилась значительная роль. Последовал арест, Алексеевский равелин, допрос, сделанный лично Николаем I, толстое обличительное «дело». Но Алексей, родной брат Михаила Орлова, на коленях вымолил у императора прощение для государственного преступника. Как замечательно

точно заметил А.И.Герцен, если Орлов «не попал в Сибирь, то это не его вина, а его брата, пользующегося особой дружбой Николая и который первым прискакал со своей конной гвардией на защиту Зимнего дворца 14 декабря». Ужас гражданской смуты: братья по разные стороны баррикад! Михаил Орлов был женат на дочери прославленного генерала Н.Н.Раевского Екатерине, а ее младшая сестра Мария, бывшая замужем за Сергеем Волконским, последовала за ним на каторгу, куда отправились и многие друзья Орлова. Да, он избежал Сибири «не по своей вине», но осужденные декабристы недоумевали, а приближенные императора, напротив, негодовали по поводу мягкости приговора. И чем измерить муки совести перед товарищами, гниющими в нерчинских рудниках, сосланными рядовыми на Кавказ… Всего полгода провел Михаил Орлов в Петропавловской крепости, а затем был вывезен под конвоем в свое имение Милятино Калужской губернии без права въезда в столицы. Полицейский надзор не был снят с него до конца дней, и когда ему было высочайше разрешено вернуться в Москву, милость сопровождалась распоряжением «смотреть за Орловым должно и строго». Дом Шубиной на Малой Дмитровке, где поселился Орлов в 1833 году, не стал великосветским салоном, но, как вспоминал поэт Яков Полонский, «вся тогдашняя московская знать, вся московская интеллигенция как бы льнула к изгнаннику Орлову; его обаятельная личность всех к себе привлекала… Там, в этом доме, я встретил впервые Хомякова, проф. Грановского, Чаадаева, И.Тургенева». Интересы хозяина дома были разнообразны. Может быть, мы сейчас находимся в его кабинете (шепоток пробежал по рядам), отделанном тогда под мрамор или оклеенном по моде того времени фисташковыми обоями, где он написал книгу «О государственном кредите».

Надо, надо остановиться, минуты текут, а все до главного имени еще не добралась! Вот оно: Пушкин! Их знакомство состоялось еще в 1817 году, когда они оба были членами литературного общества «Арзамас». В письмах Пушкин чаще всего называет Орлова арзамасским прозвищем Рейн. Очень сблизились они во время южной ссылки поэта, в Кишиневе, где Орлов командовал пехотной дивизией. В анонимном доносе на него корпусному командиру сообщалось: «Нижние чины говорят: дивизионный командир – наш отец, он нас просвещает, 16-ю дивизию называют Орловщиной»… У меня нет прямых доказательств, что Александр Сергеевич поднимался по этой лестнице и фигура его отразилась на мгновение в парадном зеркале. Но многочисленные встречи друзей в Москве дают основание для таких предположений…

Дальше приходится в перечислительном порядке: рисовальная школа – прародительница знаменитой Строгановки, женское заведение княжны Мещерской, Училище драматического искусства А.Ф.Федотова – одно за другим занимают этот дом.

А в 1899 году в его двери входит Антон Павлович Чехов. К этому времени изменился облик Москвы, рядом с особняками росли многоквартирные «доходные» дома, строившиеся по заказам купцов, уверенных, что у них «денег хватит на все стили». Малая Дмитровка оставалась островком стародворянской Москвы, и Чехов не без иронии пишет своему другу архитектору Ф.О.Шехтелю: «Я уже аристократ и потому живу на аристократической улице». Но именно в тот год Малая Дмитровка стала первой улицей города, по которой прошла линия электрического трамвая. Его звонки заглушали стук карет и экипажей, извозчичьих пролеток и линеек. Всего три дня прожил здесь Антон Павлович. Было бы время, рассказала бы подробно, чем были они заполнены, но примите на веру, что в эти апрельские дни решалась сценическая судьба пьесы «Дядя Ваня».

А после революции дом опять дает приют учебному заведению: в двадцатые годы здесь располагается Государственный институт журналистики, готовящий кадры для красной печати. Один из студентов вспоминал: «Двухэтажный особняк на Малой Дмитровке… Остатки былой купеческой роскоши и грубо сколоченные, некрашеные столы и табуретки в тесных комнатенках, в коридоре – сбитая из досок пепельница». Здесь родилась так называемая «живая газета» – знаменитая «Синяя блуза».

Когда институт расширился, он переехал в другое помещение, а дом опять стал жильем. Основательные и временные перегородки, безбожно перерезав лепнину на потолке, превратили залы и аудитории в комнаты коммунальных квартир с их непременными атрибутами: шумными кухнями, тесными коридорами. А потом произошло очередное превращение. И комнаты вновь стали кабинетами, теперь – вашими. Вкратце история такая. А кому интересны подробности – скоро будет книжка!

Доклад был выслушан с неожиданным для меня вниманием, задавали вопросы, вздыхали: «Вот люди жили…». Когда поток иссяк, подошел невзрачный человек, такой классический, почти карикатурный «советский инженер», и ошарашил: «Только вы можете мне помочь!». А потом добавил совсем уж несуразное: «Я здесь начальник пожарной охраны».

В моих черновиках уже было записано: как странно, что почти все интерьеры погибли, а самое хрупкое уцелело! Огромное, метра

четыре высотой, зеркало на площадке парадной лестницы, с двух сторон охраняемое кариатидами! Так вот, оказалось, что на это зеркало покушается районное пожарное начальство. Логика была простой: «Пожар начнется, так все с перепугу в зеркало побегут». Я написала грозную бумагу на бланке Общества охраны памятников истории и культуры с подписями и печатями, из которой явствовало, что зеркало это являет собой ценность всемирного масштаба и находится в списках чуть ли не ЮНЕСКО.

Итак, я решила навестить «свой» дом двадцать пять лет спустя.

«Чеховский» флигель кажется живым и даже процветающим. Угловой полукруглый балкон наполовину загромождён огромным кондиционером, обеспечивающим комфортный климат для трудящихся на курсах иностранных языков и торгующих вояжами на пятизвездном круизном лайнере водоизмещением 160 000 тонн (это, впрочем, мало что мне говорит) и длиной 339 метров (что производит впечатление, если учесть, например, что, согласно официальным данным, длина всей улицы Малая Дмитровка равна 650 метрам). Со двора вход в «Винный подвальчик» с весьма завлекательной витриной. Во флигель я не пошла – ничего интересного там не было и четверть века назад, не то что в центральном корпусе.

Массивную главную дверь украшало грозное объявление: «Вход строго по карточкам». Но справа обнаружился звонок. Гордо неся перед собой предусмотрительно захваченную книжку и тыча пальцем в фотографию фасада на обложке, пытаюсь втолковать охраннику, что она вполне может заменить пропуск и даже неведомую мне карточку. Заявляю о готовности предъявить паспорт, чтобы он удостоверился, что автор – и впрямь перед ним. Никакого пиетета перед печатным словом, тем более перед профессиональным литератором, охранник не выказал, но дверь приоткрыл, и я проскользнула внутрь.

Ничего, благодаренье Богу, не исчезло. Та же широкая лестница с выщербленными ступенями и лепными балясинами вела наверх, и – о радость встречи! – зеркало, спасенное мною от злых брандмейстеров, отразило мой, увы, изрядно изменившийся облик, а ничуть не постаревшие кариатиды безучастно посмотрели сверху вниз своими холодными античными ликами. Коридор все так же темнел пятнами дверей, под ногами блестел бесчувственный ламинат. Было тихо, голоса из кабинетов звучали приглушенно, зато за спиной демонстративно покашливал и вздыхал покинувший пост охранник. Напрягая зрение, я смогла прочитать несколько табличек на дверях: что-то аудиторское, какой-то «консалт» и тут же вылетевшее из памяти не то «чудо-

путешественник», не то «ветер странствий» – туристические фирмы, одним словом. Я обернулась к охраннику: «А что, треста горнопроходческих работ здесь нет?» Он посмотрел на меня еще более подозрительно, чем прежде, и ответил уклончиво: «Такого не знаю. – И раздраженно: – Ну что, посмотрели?»

И на том спасибо. Обошла дом вокруг. Вспомнила указ московских властей позапрошлого века «О неупотреблении грубого цвета красок». И впрямь негрубый, но решительно не поддающийся словесному описанию колер вдобавок еще зияет проплешинами, а со двора – и вовсе мерзость запустения: штукатурка осыпалась, местами обнажив дранку, и кажется, что дыры насквозь пронзили старые стены.

Вернулась на улицу. Красуется на облупленной стене массивная доска: «В этом доме…». Помянуты и Михаил Федорович, и Антон Павлович, а в конце обнадеживающее «Охраняется государством». Доска эта появилась не в последнюю очередь благодаря моей книжке. Нескромно, наверное, но не все ж молчать… Да только не спасет ни от чего чугунная охранная грамота.

Здесь впору удариться в «плач Ярославны» по погибающей московской старине, и будет это не ново, но справедливо. Я понимаю, что не приходится мечтать о реставрации. Да пусть бы хоть новодел, но по старым чертежам! А главное – вывезти и сохранить зеркало. Оно столько видело…

Соседний дом украшен флагом и милицейской будкой. Подошла ближе: посольство Словении. Не было, не было такого государства двадцать пять лет назад на карте мира! Что же творится, что же выпало на мой век, какие катаклизмы! Одна улица, а в ней, как в капле воды, тектонические сдвиги рубежа второго тысячелетия…

Когда я писала свою книжку, мне не было знакомо слово «Интернет». А сегодня по запросу «Малая Дмитровка» Яндекс был готов предоставить мне 236 тысяч страниц. Вот так, столько информации – не выходя из дома, не чихая в пыльных архивах, не перерывая груды книг… Конечно, настоящие исследования и сейчас потребовали бы настоящих источников, но многое, как многое можно было бы почерпнуть из этой таинственной кладовой…

Появились понятия, которых просто-напросто не существовало, когда я составляла перечень того, что могло бы представлять интерес. Эти загадочные слова не были придуманы: «точки доступа wi-fi на улице Малая Дмитровка», гостиница «Голден Эппл», кафе «Кофе Хауз», ресторан «Трам».

Малая Дмитровка оказалась в списке наиболее

«сосулькоопасных» в столице, а также одной из тех, где не рекомендуется парковать автомобили – эвакуаторы здесь частые гости.

Много чего выскакивает по ссылке «Малая Дмитровка». В блоге неведомой москвички, о которой только и смогла узнать, что год рождения – 1981-й, нашлась запись от июня 2004 года: «*На улице Малая Дмитровка есть старенький домик-развалюха, на домике вывеска «улица Чехова, 12». Наверно, в этом домике всегда вчера».*

Всё смешалось на улице Малая Дмитровка…

P.S. А доблестных горнопроходчиков я все же нашла. Переписала телефон с картонного щита, огораживавшего котлован, и набрала номер. Они стали частью ушедшей истории дома на Малой Дмитровке и теперь обитают на иных московских просторах…

Приношение Эразму

Елена Холмогорова Похвала верхоглядству

Первое, о чем предупредила нас многоопытная переводчица-итальянка: «В Италии *uno momento* совсем не то, что вы думаете, – это как минимум полчаса, здесь ничего не делается быстро». Правоту ее слов можно почувствовать в любом кафе. Но ритм улицы знаменитых городов Италии никак нельзя назвать неспешным: его задают туристы.

Человек, временно попавший в эту категорию, должен затвердить ряд правил, я бы даже сказала, заповедей. Первая и главная из них – полное подчинение гиду и слепая вера информации. Вот я прочитала в путеводителе, что во Флоренции самое вкусное в мире фисташковое мороженое, и уже считаю делом чести его попробовать. Я даже не пытаюсь вслушиваться в свои вкусовые рецепторы, я просто ем самое вкусное в мире фисташковое мороженое.

«Посмотрите налево, теперь направо. Как не увидели? Увы, мы уже проехали. Я всегда предупреждаю заранее…» Проникнувшись полным доверием к абсолютной компетенции гида (только так, сомнения тут неуместны), готова все воспринимать как истину в последней инстанции и восторгаться дежурной шуткой как остротой, только что родившейся в прелестной головке флорентийки (римлянки, венецианки – все звучит как песня) и предназначенной только тебе.

Похоже, мы уже перешагнули через ненависть ко всему коллективному и готовы встать выше этого. Нет, пока еще не как японцы, вот группа в одинаковых жилетах, чтобы удобнее было отличать «своих», – прямо дворовая футбольная команда. А впрочем, вон американцы, у каждого на шее веселенький яркий платочек, завязанный наподобие пионерского галстука. И, конечно, все обвешаны аппаратурой, хотя то и дело нас предупреждают, что пользоваться ею нельзя. «Снимать и щелкать здесь запрещено», – говорит гид в музеях Ватикана. Мы улыбаемся, но нельзя не отметить точность формулировки: «снимают» на камеру больше, чем «щелкают» фотоаппаратом.

Мне хорошо в этой пестрой толпе. Я чувствую себя частичкой цивилизованного мира, не отягощенной клеймом «советский». И готовность подчиниться правилам коллективизма не угнетает, а возвышает, это мой выбор на ближайшую неделю, как ни парадоксально – новая степень свободы. Я принимаю правила игры, марафон начался, и с судьей не спорят.

Времени на то, чтобы присмотреться друг к другу, нет, поэтому очень быстро, повинуясь своего рода классовому чутью, группа разбивается на стайки; как показывает будущее, интуиция срабатывает точно. Но в любом стихийно возникшем коллективе неизбежно присутствие и чужеродных элементов.

Один из таковых «попал на бабки», лопухнулся, влип по-черному. Невысокий, крепкий, в адидасовском спортивном костюме с массивной золотой цепью на шее, такой классический, но вроде бы изжитый уже персонаж. Ан нет, это в Москве вчерашний день. А он из черноморских курортных краев, хозяин гостиницы, между прочим, не последний человек. Но никак бедолага не ожидал такого несправедливого баланса между музеями и магазинами. При этом исправно ходит на все экскурсии – «оплачено», но каждые минут десять, уловив паузу, заискивающе заглядывает в глаза гиду и робко спрашивает: «Еще долго?»

К счастью, нам не надо, как встарь, рыскать по магазинам, и в «свободное время», когда гид выпускает нас из-под неусыпной опеки, мы бесцельно бродим по улочкам средневековой Сиены или по римским проспектам, где, как говорил долго живший там Гоголь, нас подстерегают «беспрерывные внезапности».

Оказывается, белье на римских улицах не специально развешивали для съемок неореалистических фильмов, оно просто сушится там каждый день. Остатки древних стен времен Марка Аврелия служат упорядочению довольно-таки хаотичного уличного движения: наш двухэтажный автобус не без труда, но привычно-плавно проезжает сквозь античную арку. А с огромных портретов, посмевших загородить часть фасада собора Святого Петра, как выясняется, смотрят новые святые, канонизированные накануне и пополнившие и без того необъятные католические святцы.

А вот «внезапности» лингвистические. Ей-богу, не предполагала, что название галереи Уффици происходит вовсе не от звучного имени собственного, а всего лишь от первоначального назначения здания – для учреждений, то бишь для офисов. Человек, получивший хотя бы начальное музыкальное образование, в Италии не будет страдать из-за языкового барьера: скажем, трамвайная остановка, конечно же, fermata. А увидев из окна автобуса вывеску agenzia funebri, догадываешься, что это похоронное бюро, просто-напросто по шопеновскому похоронному маршу, marshe funebre.

Кстати, о маршах. Однажды, пытаясь скоротать стояние в очередной московской пробке, я нажимала кнопочки магнитолы, пока не наткнулась на неизвестной мне дотоле радиоволне на

квалифицированный и необыкновенно увлекательный рассказ о «Турецком марше» Моцарта. Об источниках восточных мотивов в творчестве тогдашних композиторов, о революции в ударной группе оркестров за счет появления экзотических инструментов и так далее. Увы, я не слышала начала передачи. Зато, продвинувшись метров на сто вперед, услышала ее окончание: «Это была передача “Мелодии твоего мобильника”».

Мы a priory презираем поверхностное знание. Мы острим, что бывает образование энциклопедическое, а бывает кроссвордовое, и снисходительно-ироничны, если кто-нибудь из родных и близких увлеченно заполняет клеточки. Мы откровенно потешаемся над незадачливыми участниками телешоу, которые упустили свой миллион, споткнувшись на элементарном для нас вопросе, не признаваясь в том, что вылетели бы на иных предыдущих. Нам претит словосочетание «обзорная экскурсия». Сколько же упущено и будет еще упущено из-за этого снобизма: «Ну что вы! В Рим надо ехать на месяц…» И никогда мы вслух не признаемся, сколько же мы услышали впервые из затверженной лекции экскурсовода. Получается, что для нас лучше быть неучами, чем недоучками. Мы резко утрачиваем даже чувство юмора, считаем своим долгом соответствовать великим творениям возвышенно-погруженным видом. Мы шикаем на сотоварища по группе, услышав у подножья Пизанской башни его исполненный мечтательной зависти голос: «Один растяпа ошибся в расчетах, и весь город сколько веков этим кормится!»

Боясь общественного осуждения, мы стыдимся признаться, что не все хрестоматийные шедевры нам близки. И успокоить трепещущее от собственной смелости сознание может лишь ссылка на авторитеты: «Путешественники, которые обладают не только блестящим умом, но и мужеством, свойственным благородным натурам, откровенно признаются, что для них нет ничего скучнее картин и статуй». Это Стендаль, его «Прогулки по Риму». И там же: «Проходя мимо произведений, подписанных знаменитыми именами, мы испугались их количества и бежали из Ватикана: удовольствие, которое он предлагал нам, было слишком серьезным».

И впрямь. Чтобы не впасть в естественное отчаяние от ошеломляющего количества шедевров на квадратный метр, требуется известная доля легкомыслия. Оно, конечно, заманчиво было бы, как-нибудь взять да разогнать публику в Сикстинской капелле и в одиночестве проникаться гением Микеланджело сколько душе угодно. Но в нашем бешеном пробеге по Ватикану есть, как ни странно, своя прелесть: картины, скульптуры, фрески, схваченные жадным взглядом, врезаются в память, чтобы потом

пробуждаться в унявшемся мозгу своими деталями и оживать, когда рассматриваешь репродукции в альбомах. Занятие это в кругах людей эстетически развитых почитается не вполне достойным, а зря: репродукции не «вместо», а «после» производят совершенно иное впечатление.

Только в спешке, только зная, что сейчас и никогда больше. Хотя монетка в фонтан Треви, конечно же, брошена, как положено, по всем туристским правилам: повернуться спиной и бросать правой рукой через левое плечо.

Но вот ведь какая крамола, страшно даже компьютеру поведать! Я, может быть, и не хочу сюда вернуться…

Мы все знаем про Венецию, нас ничто не может удивить, мы даже слегка презрительно кривим уголок рта: «На гондоле кататься? Ну, это же кич вроде русской тройки!» Сразу хочется спросить: приходилось ли проехаться по зимнему лесу в санях, когда легкий снег падает с еловой ветки тебе на лицо, чурбан? А Венеция оказывается совсем другой, в сто, в миллион раз прекраснее. Вот дама в белом кормит голубей на площади Сан-Марко. Они слетают с ее руки, и я вижу, что на рукаве остались мокрые трилистнички голубиных лапок. Яркое синее небо, а под ногами лужа. Боже мой, из щелей между плитами сочится вода, а молодые люди привычно быстро, но без суеты расставляют помосты. И пусть промокнут ноги – я это видела, мне повезло, вода заливает площадь! Я не хочу приезжать сюда опять, а вдруг это не повторится. Я не могу представить себе, что можно увидеть Венецию больше и лучше.

Вечером в гостинице падаешь на кровать. Ноги гудят, а закроешь глаза – плывут перед тобой дворцы, фрески, фонтаны… Как после проведенного в лесу дня все мерещатся грибы, грибы. Нет, я, конечно, слегка лукавлю: страшно нарушить образ города, а приехать, чтобы побродить по музеям, – это другое дело. Пожить во Флоренции и ходить, как на работу, в галерею Уффици на свидание то с Боттичелли, то с Рафаэлем. Облазить в Ватикане музей загадочных этрусков, застыть перед храмом Эскулапа на вилле Боргезе, всласть налюбоваться «Раем» Тинторетто над троном венецианского дожа… И тут со стыдом спохватываешься: который год планирую поехать в Петербург специально, чтобы день за днем, целенаправленно отправляться в Эрмитаж. Но и утешаешься: «беспрерывные внезапности» могут застигнуть и в родной Москве, когда из окна троллейбуса вдруг увидишь в огне заката стены и башни Ново-Спасского монастыря, и древнее княжество Московское выбьет на миг из современной реальности, чтобы остаться в тебе навсегда.

Нам все время твердили: «Вам повезло, сейчас не сезон». Как

будто не специально выбирали! Тем не менее в станцах Рафаэля («не сезон»!) яблоку негде упасть. А ты будто одна. Это все твое. Только твое. И навсегда.

И во дворе дома Пакия Прокула в Помпеях, где на полу рвется с цепи мозаичный пес, а камешки надписи предостерегают cavi canem, то есть осторожно, мол, злая собака, и в том дворе никого не было. Ни до, ни после, ни одновременно со мной. Потому что в этом невероятном месте, которое, кажется, только-только покинули люди, где сплющилось время, для меня одной сместилось еще и пространство: ведь никто, кроме меня, не замер, потрясенный, увидев, как из-под античной стены пробивается родной желтый одуванчик…

И я, наконец, поняла: в путешествии не так важно увидеть *все,* главное – увидеть *свое.* И кто сказал, что степенное, неспешное, расслабленное созерцание даст тебе больше, чем сгущенное, нервное выхватывание « *самого главного»* ? Почему-то принято считать, что *главное* непременно скрыто глубоко внутри и открывается лишь при долгом специальном вглядывании. Предрассудок это. Сила воздействия красоты измеряется не человеко-часами, потраченными на ее созерцание, и не числом прочитанных о ней страниц, а Бог весть в каких единицах исчисляемой загадочной субстанцией, когда воспринимаешь не органами чувств, а всей поверхностью кожи. Причастность великому рождается мгновенно или вовсе не посещает.

Потому и не стоит клеймить за верхоглядство тех, кто несется галопом по европам, руководствуясь, как всякий русский, Пушкиным:

И пред созданьями искусств и вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах умиленья.

Елена Холмогорова, Михаил Холмогоров Похвала праздности

Глобальное потепление грянуло внезапно, превратившись однажды осенью для каждого жителя средней России из абстрактного научного термина в реальность. Небывалая, дивная погода казалась подарком природы лично тебе, и ты, как ждущий казни, открывая поутру глаза и первым делом видя пляску пылинок в косой солнечной полосе, вздыхал: «Ну, уж этот-то день точно последний…» А она длилась и длилась, почти утомив, потому что умиление, восторг и восхищение не предполагают такой протяженности – это чувства сильные, яркие, а стало быть, не могущие долго сохранять накал.

Когда сжатые и перепаханные поля вдруг к сентябрю зазеленели, мы в первую минуту решили, что мир перевернулся и то ли времена года смешались, то ли время вовсе пошло вспять. Оказалось, просто-напросто взошел озимый овес.

Осень – единственное время года, наступающее точно по календарю. Во всяком случае, за городом. Увозят подросших детей в школу, и сразу веет бесприютностью, дома сереют. В «детское время», когда только что везде кипела жизнь, падает непроглядная тьма, а утром шагаешь с крыльца в туман, как с самолета в облако, и почему-то хочется тушенки с картошкой и меда, глаза не смотрят на огурцы с помидорами, а душа не принимает парного молока.

Один из признаков осени – бусы из грибов, сохнущих на печке. Нынешний небывалый «грибной лом» примирил местных жителей с пустой забавой «дачников» – заготовками в промышленных количествах занялись и они, а посему дискуссии о пропорциях гвоздики и корицы в маринаде на время уравняли крестьян, сведущих в тонкостях ремесла копчения сала и повышения жирности молока, с «городскими бездельниками».

Кстати о «городских бездельниках». В общении с аборигенами мы тщимся доказать, что работаем, работаем не разгибая спины, что никакие мы не дачники, а такие же каторжники, как непьющие крестьяне. Не верят. А мы как заведенные садимся-таки ежеутренне за стол. И отпуск для нас – это не время безалаберной праздности, а окошко в году, чтобы поработать «на себя». Но убедить привычного к труду физическому в том, что грузить слова в компьютер ничуть не легче, чем навоз в прицеп трактора, невозможно. Душа трудится неустанно, изнурительно и незаметно чужому глазу.

Но в такой роскошный день ну никак она не желает трудиться. А может, и не надо? Может, не надо одолевать лень, мучиться проклятыми вопросами, на которые все равно нет ответа? И над порядком слов душа не хочет трудиться. Что ей нынче порядок слов? Солнышко светит!

Праздношататься! Тем более что оправдания искать долго не требуется: будут потом «зимние заметки о летних впечатлениях», дали классики пример, все пойдет в дело.

Однако от себя не убежишь. Писатель М., к зависти писателя Е., закончил роман. Писатель Е., к зависти писателя М., погружен целиком в новый замысел.

Голова писателя М. почти пуста, в ней бродят ненаписанные эпизоды, упущенные возможности, досады о непроясненных истинах. Хочется высказаться прямо и в лоб. А проза лобовых атак не терпит. Она предпочитает долгие и терпеливые осады, когда «поэт издалека заводит речь, поэта далеко заводит речь», а он, заведенный собственной речью в глухие дебри, даже и не старается понять, куда его занесло.

Голова писателя Е., напротив, так бессистемно переполнена, что тоже практически пуста. Эмбрионы доброго десятка новых сочинений разом толпятся, и заранее жаль тех, что падут жертвой в борьбе видов. Роковой борьбе.

Но пока – в лес. Дорога идет в подъем, по этой причине горизонт совсем рядом, и видимая земля кончается в полукилометре. Дальше она опускается на восток – и, по глобусу судя, вот-вот будет Урал, за ним Сибирь, Чукотка, Аляска и так далее. Нам так далеко не надо – через триста метров к полю подступит лесной клин с яркими багровыми вспышками осины. Это дерево, все лето безликое (куда его зеленоватой коре до воспетой в тысячах песен, стихов и патриотических гимнов и псалмов сметанной бересты!), вдруг вступает в соперничество со всей растительностью. И эти триста метров мы одолеваем неспешно, то и дело застывая в восхищении.

Наше продвижение, какое ни медленное, тоже меняет окружающий мир, мы незаметно подошли к вершине холма, известной тем, что здесь мобильный телефон берет Москву при любой погоде. Осенними вечерами, мгновенно превратившимися в ночь, сюда, к стогам, как жуки-светляки на одинокий пень, сходится полдеревни с фонариками и мобильниками. Прогресс! Он, кстати, еще и в том, что стога – давно уже не стога в привычном смысле – это рулоны овсяной соломы, собранной комбайнами на зимний прокорм коровам колхоза «Сознательный». Вот-вот наступит день, и загонят наших буренок в зимние коровники, где всего одна утеха – праздно и бездумно

жевать, жевать, жевать. И чувствовать полное счастье.

Вот, кстати, отличие живого существа «человек» от живого существа «корова». Почему-то человек, отважившийся предаться праздности, вечно вынужден оправдываться. «Праздность – мать пороков», – сказано в собрании русских пословиц Даля. А с народной мудростью спорить – последнее дело.

Гений праздности Илья Ильич Обломов с легкой руки критика Добролюбова, прицепившего к его благородной фамилии оскорбительный в XIX веке и расстрельный в XX суффикс «-щина», ославлен на века. И напрасно. Он человек, одаренный талантом, на первый взгляд не знающим применения. На самом же деле Обломов принадлежит тому типу русских умов, которыми и движется искусство. Они пустыми на трезвый взгляд прагматика, праздными разговорами выстраивают и обозначают критерии, предлагают темы, сообщают направление художественной мысли.

Рискнем утверждать, что искусство во всех своих видах складывается по преимуществу именно из праздного общения небесталанных людей, но лишь единицам удается преодолеть завышенный уровнем разговора критерий (ах, можно ль пером, смычком или кистью прикоснуться к высокому, о коем сотрясали воздух всю ночь!), отчаяние от невозможности приблизиться к вымечтанному идеалу и тьму прочих комплексов, отважиться и запечатлеть-таки пресловутые «никчемные» разговоры о том о сем. Мы ж еще из школьной литературы привыкли к характеристике «писатель Икс является *выразителем* идей некоего слоя общества, скажем, Игрек». Даже игнорируя пресловутый классовый подход, задаешься вопросом: а что за люди объединены символом Игрек? Ответ до удивления прост: это не удостоенные славы собеседники, по уровню интеллекта отнюдь не уступающие своим выразителям. Не каждому прилично фланировать по Невскому или Тверской в ветхом рубище с яркой заплатой.

Праздность – мать вдохновения. Без нее не придешь к той ясности ума, которая способствует единственно точному расположению слов в предложении. Они неведомо как накапливаются в тебе, до поры не удосуживаясь выразить себя хоть звуком. Идешь, вглядываешься в даль, а спроси, о чем думаешь, что видишь перед собой, и ни словечка не найдешь, чтобы ответить…

Взгляд постепенно опускается все ближе долу – у самого острия лесного языка надо всматриваться в траву, опавшую листву, в пролысинки голой земли, и трудно разобрать, что действует в полную силу – внимание или воображение: уже мерещится красная головка подосиновика… Нет, обманка – это

красный лист костяники так улегся между палыми березовыми, что принимаешь его за честную добычу. А честная добыча – вот она, и так укрылась, что только и остается дивиться самому себе – как умудрился увидеть?

Оглядываемся – еще парочка молодых и крепких подосиновичков и кое-что повидавший на своем веку подберезовик. Его брать не будем – размякнет, пока донесешь. Когда это пренебрегали подберезовиками? В прошлом засушливом году ценился б что твой алмаз! В отместку за пижонство лес прячет сокровища, и, как ни всматриваешься, – одни мухоморы, на радость писателя Пелевина.

Мы расправляем спины, вдыхаем влажные запахи осени, ею дышат небеса, вроде бы такие же высокие и голубые, как в летний ясный день, но ощущение какой-то непрочности, зыбкости, и этот запах отжившей свое листвы, и легкая зябкость на кончиках пальцев спорят с самой погодой, вроде бы похожей на августовскую, не оставляют надежд на долгое наслаждение. Надо, надо ловить момент.

И мы бросаем грибное место ради места заведомо пустого, зато прелестного и, как всегда ранней осенью, день за днем возвращающего солнцу набранное за лето золото.

Ели и сосны здесь поднимаются над зарослями папоротника, со школьных лет возбуждающими картины доисторических дебрей вместе с хвощами и плаунами. Воображение мгновенно уравнивает в росте траву с деревьями, за шелестом ветра чудится движение бронтозавра, но, уняв иронической насмешкой фантазию, и без того оказываешься в сказочном лесу. За наше двухдневное отсутствие вдруг побурели папоротники, все вокруг окрасив бледной охрой. Сквозь густую тьму хвойных проглядывает вдали желтизна деревьев лиственных, а небо открыто, высоко и ясно.

Мы дивимся переменам цвета, состава воздуха и звуков (тишина в лесу всегда разная) и точно знаем, что какие-то перемены произошли и с нами. Душа в это *праздное шатание,* оказывается, работала. Хоть мы не в музее перед шедевром Рембрандта или Микеланджело, не под высокими сводами Большого зала Московской консерватории. Обогащение души происходит на любом материале. Ей ведь едино, на чем просветляться…

Слов нет, одни восторженные междометия, да и Господь с ними, со словами. Красота в них не нуждается, как не знает и цели, и ведать не ведает о своем предназначении спасать мир. Она безразлична к прогрессу и побуждает не к действию, а к мудрому созерцанию. Стало быть, к вышеупомянутой

обломовщине.

«Обломова» мы освоили в прошлом, ленивом году, когда зной не выпускал из прохладной избы. Праздность нынешней осени довольно хлопотливая: сушить, морозить, мариновать (искусство соленья нам не далось)… Соответственно, и круг чтения – разумеется, Гоголь. Разумеется, «Старосветские помещики». Оказывается, старички Пульхерия Ивановна и Афанасий Иванович не такие уж и старые – наши ровесники. Нам, конечно, до такой идиллии далеко, мы еще стремимся к описанному Гоголем идеалу, но как приятно, пока булькает в кастрюле грибной отвар, произносить вслух вслед за Пульхерией Ивановной: «Вот это грибки с чабрецом! это с гвоздиками и волошскими орехами; солить их выучила меня туркеня, в то время, когда турки были у нас в плену. Такая была добрая туркеня, и незаметно совсем, чтобы турецкую веру исповедовала. Так совсем и ходит почти, как у нас; только свинины не ела: говорит, что у них как-то там в законе запрещено. Вот это грибы с смородинным листом и мушкатным орехом! А вот большие травянки: я их еще в первый раз мариновала; не знаю, каковы-то они; я узнала секрет от отца Ивана. В маленькой кадушке прежде всего нужно разостлать дубовые листья и потом посыпать перцем и селитрою и положить еще, что бывает на нечуйвитере, цвет, так этот цвет взять и хвостиками разостлать вверх». Ну вот, пока текут слюнки под говорок гоголевской Бавкиды, закипели и сбежали наши грибы. Уж что-то одно – или жить старосветским помещиком, или читать о нем.

В иные жизненные моменты так хочется бросить московскую суету, про которую, кажется, уже все знаешь, которой, как мстится, пресытился, на которую, как в пар, уходят отпущенные тебе силы, и предаться простым старосветским радостям. Но тут же понимаешь, что это иллюзия. Втянешься в эту райскую жизнь – удавиться захочется. Буколики хороши для нечастого чтения вслух в соответствующих обстоятельствах и декорациях.

Вот запрем банки тугими крышками, забьем в морозилку аккуратные пакетики, полюбуемся очередным, всегда неповторимым закатом и завтра с утра – за дело, отдавать долги компьютеру.

Закрадывается подозрение: кажется, не судьба. Промороси сквозь сумерки мелкий дождичек, а солнце, миновав тучу, оранжевым мячиком скатывается за волжский прибрежный лес, обещая и на завтра новые соблазны вдохновенной, плодотворной праздности.

Михаил Холмогоров Похвала тщеславию

Признайтесь, господа, вас ведь тоже посещает этот мелкий, но весьма зубастенький зверек, кажется, даже семейства хищников – бес тщеславия. Стоит потерять волю и бдительность, глядь – и этот стервец выставил вас на всеобщее посмешище. То вы с жаром и отвагой, будто неприступную крепость штурмуете, бросаетесь отстаивать азбучные истины, то, чтоб прослыть остроумцем, с нетерпением дождавшись паузы, расскажете прошлогодний анекдот, победно озираясь и обнаруживая всеобщую неловкость. Да мало ли нелепых положений, в которые способен завлечь нас этот мерзкий представитель нечистой силы. Они так подробно описаны всеми сатириками мира – только ленивый не издевался над слабостью человека, бессильного перед искушением беса тщеславия.

Хитрый русский язык создал синоним тщеславию – честолюбие. Только тщеславие вроде бы – плохо, а честолюбие – хорошо. Слава, дескать, тщетна и хлопотна, суетлива, требует поддерживать себя, не гнушаясь никакими средствами, а честь – понятие строгое: дворянская, офицерская, профессиональная… Хотя нет, производное от последнего «честолюбец» звучит не столь похвально. А в общем-то, это одно и то же. Так что отношение к этому человеческому, слишком человеческому свойству предосудительное. Владимир Даль в своем словаре очень жалует честь, определяя ее как «внутреннее нравственное достоинство человека, доблесть, честность, благородство души и чистая совесть». Вон сколько эпитетов – и каких! – не пожалел. Зато честолюбию от него же досталось: «искательство внешней чести, уважения, почета, почестей». Соответственно, и честолюбец – «человек, страстный к чинам, отличиям, к славе, похвалам и потому действующий не по нравственным убеждениям, а по сим видам». Ни словечка доброго ни честолюбцу, ни тщеславцу. В других словарях – то же самое, только по-канцелярски.

Нет чтоб заступиться.

Попробую.

Воспитательница в детском саду со смехом рассказывает про девочку, самую младшую и слабосильную в группе:

– Колупается, как колобок, позади всех и кричит, путая буквы: «Я певрая! Я певрая!»

Имел случай наблюдать за этой девочкой и дальше. Когда в школе у нее не пошли химия и математика, она забросила вообще

все предметы, включая любимые, и стала в классе последней, упиваясь званием отпетой. Едва добравшись до аттестата зрелости, поступила в институт, успешно сдала экзамены, что-то ей в этом процессе сдачи экзаменов понравилось, глядь – и красный диплом без единой четверки во вкладыше. Теперь она кандидат наук и сама учит молодежь уму-разуму.

Так что этот бес не всегда ставит нас в неловкое положение.

Мерой тщеславия меряется и масштаб личности.

Мне повезло довольно подробно изучать жизнь и деятельность последнего реформатора эпохи Александра Второго генерала М.Т.Лорис-Меликова – того самого, что ликвидировал Третье отделение и чуть было не ввел начала конституции Российской империи. Естественно, ознакомился и с его окружением.

Так вот, в конце семидесятых сразу три человека почти одновременно всемилостивейшим царским рескриптом были возведены в графское Российской империи достоинство. Это М.Т.Лорис-Меликов, военный министр Д.А.Милютин и председатель Комитета министров П.А.Валуев.

Михаил Тариелович Лорис-Меликов – потомок старинного армянского княжеского рода, укоренившегося в Тифлисе. Когда Грузия присоединилась к России, Лорис-Меликовых забыли включить в список знатных родов, и они утратили не только княжеский титул, но и самое дворянство, и лишь в тридцатые годы XIX века им удалось возвратить свое имя в Шестую книгу Тифлисского дворянства (уже без титула). Так что герой Карса воспринимал графство как восстановление справедливости к своей славной фамилии.

Дмитрий Алексеевич Милютин искренне оскорблялся, когда его поздравляли с императорским указом, и морщился, если кто-нибудь из близких обращался к нему, титулуя «Ваше сиятельство». Гораздо важнее для милютинского тщеславия был успех военной реформы 1873 года, в борьбе за которую он одолел почти весь русский генералитет.

Зато потомок древнего дворянского рода Петр Александрович Валуев, самый знатный по происхождению из всех троих, радовался своему возведению в графское достоинство, как ребенок.

Хотя чему уж так радоваться? Звание графа к тому времени было порядком обесценено, и один из министров Александра Третьего, когда император захотел таким образом отметить его заслуги, попросил:

– Ваше величество, а нельзя ли деньгами?

Мелковатая личность Петр Александрович Валуев. А ведь ни

умом, ни статью Господь его не обидел. Сам Пушкин, говорили в свете, признавался, что юный Валуев стал прототипом Петруши Гринева, а князь Петр Андреевич Вяземский отдал за него любимую дочь. Чинов достиг немалых, историки и сейчас его поминают осторожным добрым словом. И образован был блестяще: его дневники – радость полиглота, то английская фраза вспыхнет, то немецкая или французская, а то из древних греков или римлян кого вспомнит на его родном языке. Но бес тщеславия изгрыз душу его сиятельства без остатка, призвав еще и зависть на подмогу. (Зависть, конечно, сестра соревнованию, тут Пушкин прав; но скорее – двоюродная, а родная – мелкому тщеславию.) Мало ему было блистания в свете и достижений на ниве государственной службы. С усердием, достойным лучшего применения, Петр Александрович вымучил длиннейший и скучнейший роман «Лорин» и терзал чтением глав из него всех своих гостей. И не только своих – сам ходил в гости с рукописью. И отрывал людей солидных, почтенных от послеобеденного виста, заставляя давить зевоту под вялый и утомительно-скучный текст.

Впрочем, тут Валуев мало отличается от великого поэта, признавшегося с простодушием:

Ко мне забредшего соседа
Душу трагедией в углу.

Первый побудительный мотив для всех пишущих одинаков. Кто не глядит в Наполеоны, тот озирается на Гомера или Шекспира.

Юрий Казаков признавался, что с отрочества мечтал увидеть свою фамилию, набранную типографским шрифтом на уличной афише или на переплете книги. Поэтому и бросил, недоучившись, строительный техникум и поступил в Гнесинское училище осваивать мастерство игры на контрабасе. А уж потом – в Литературный институт, где известность обрушилась на него едва ли не на первом же курсе, когда он написал рассказ «На полустанке». Молва сохранила прелестный анекдот о Юрии Павловиче. Будто он говорит приятелю-литератору: «Старик, что мы все обо мне да обо мне. Поговорим о тебе. Ты читал мою последнюю книжку?»

Как человек тщеславный, не буду лукавить: поговорим обо мне.

До сих пор краснею, вспомнив, как в анкете, известной тем, что ее с предельной искренностью сам Карл Маркс заполнял, на вопрос «Ваше заветное желание» с простодушием римского воина ответил: «Стать известным писателем». А ведь больше сорока лет прошло, что краснеть за девятнадцатилетнего юнца? Он еще не

знал, что «быть знаменитым некрасиво».

Теперь писательство перестало быть профессией публичной. Это результат столь чаемой свободы слова, совершенно непредвидимый не только в годы, когда за слово расстреливали, но и когда просто сажали. Помню свое изумление после того, как рассыпался в прах проржавевший железный занавес: оказывается, шедевры тамиздата, которые после пересечения границы размножались в многотысячных копиях, в Париже или Нью-Йорке выпускались дай бог если тысячным тиражом. Просветил меня на этот счет Андрей Донатович Синявский. Французы говорили ему, что страсть к чтению у них возникла в период фашистской оккупации и исчезла, едва Кейтель подписал акт о капитуляции. Литература нужна стране только тогда, когда ей плохо. Благополучие вполне обходится без нее. Так что тут или слава, или «была бы страна родная». Приходится выбирать последнее. Россия достаточно наплакалась за двадцатый век.

Зато теперь литература – дело сугубо интимное. И писатель стал сродни слесарю-лекальщику на оборонном заводе, который работает не ради зарплаты (каковой и так не дают, а если и дают, то далеко не по его квалификации), а из профессиональной привычки, чтобы не растерять мастерства. И тут не на энтузиазме все держится, а на тщеславии русского Левши, которому достаточно признания одного-двух людей во всем мире, но *понимающих* .

Литература, в общем-то, игра. И наступает момент, когда законы игры вытесняют напрочь любование собою в лучах будущей вероятной славы. Не до того. Надо с точностью до звукового оттенка попасть в бессловесное пока чувство или мысль. Удача редка и доставляет такую радость, что решительно наплевать, заметят ее или нет, и уж тем более – кто заметит. Ты-то знаешь, что попал, и довлеет. (Замечу в скобках – маленькая просветительская радость: употребил слово «довлеет» в его подлинном смысле, вопреки общепринятому; тоже, доложу вам, в утеху тщеславию.)

Один старый литератор, видя, как бьюсь над рассказом о давно прошедших и мною не виданных временах, дал добрый совет:

– Не надо ставить трудноразрешимых задач. Литература, – говорил он, – поле бескрайнее, всем места хватит. Я тоже был молодым и рвался в великие. Не каждому дано быть Пушкиным или Блоком. Апухтин тоже был поэт. И, смею заметить, неплохой. Когда я понял это, понял и другое – мое место в ряду второстепенных. И успокоился.

Природа в XIX веке оказалась для России необыкновенно

щедра. Родись тот же Апухтин в скудной стихотворцами Голландии или Швейцарии, его имя вознеслось бы в звезды мировой величины. У нас же не всякий филолог вспомнит это имя. Кстати сказать, с Апухтина и начались мои размышления о тщеславии. Как-то наткнулся на строку:

Не тронь его: оно разбито.

Впервые я прочитал этот крик о неразделенной любви не в книге. На руке молодого человека явно уголовного облика было изображено сердце, пронзенное финским ножом и увенчанное перевранной, обогащенной грамматическими ошибками и отсутствием знаков препинания:

Не тронь его оно итак розбито

Мог ли флегматичный русский барин, аристократ, человек высшего общества, предположить, где и как отзовется его слово в следующем веке!

На нарах, где выкалывают такие сентенции, знать не знают поэта по фамилии Апухтин. Зато какой слух! Оригинал – стихотворение «Разбитая ваза (Подражание Сюлли-Прюдому)» представляет собой сочетание полных и усеченных строк. Концовка, что докатилась сквозь бурные времена и бескрайние пространства до наших лагерей, как раз и являет собой строку усеченную, в отдельности от предыдущих – ритмически охромевшую. Потому и встало на свое место «и так».

Так ли уж важно имя? Строка-то осталась!

А как успокоился, зачислив себя в поэты второстепенные, мой доброжелательный советчик? В будни он бодренько бегал по редакциям, снося насмешки, пристраивал стихотворения и поэмы, писанные сначала к советским праздникам, потом просто к российским. За это дозволялось поразмышлять печатно и в рифму о любви, красоте пейзажей и прочих высоких материях. А технология осталась «датская»: к более-менее удачно придуманной строке пришивались гнилыми рифмами другие, совсем уж пустые. Легко и спокойно. Но не все ж будни, приходили и праздники. С утра под запах пирогов, едва ли не раньше самого поэта, просыпался бес тщеславия, пристраивался на грудь, вонзал острые зубенки и грыз, грыз, тяжелея от выпитой крови и мрачных мыслей о пропащей жизни, напрасно растраченном даре и прочее в том же роде.

Нет, не по мне такие радости. И я вернулся к своим забавам. Правда, когда выходит в свет результат твоих трудов, вдруг выясняется, что ничего не произошло, знаменитым ты не

проснулся. Две мои книги исчезли с прилавков за неделю. Две другие так и не были распроданы. Итог один. Ни те ни другие даже легкого шороха не произвели. Я уж было расстроился, поняв, что книга – могила неизвестного писателя. Выйдет – и как камень в болото. Буль – и тишина.

Один тщеславец, не напечатавший при жизни ни строки из будущих четырех томов, заметил: «Посмертная слава: громыхающая “телега жизни”, едущая дальше порожняком». Сам Сигизмунд Кржижановский дождался славы через тридцать семь лет после смерти.

Грустно, конечно, но утешает. Все ведь зависит от величины брошенного камня. Болотам свойственно высыхать. И тогда вдруг из глубины земли валуны выходят на поверхность. Если они достаточно большие, их нельзя не заметить. А когда такое произойдет – это уж не нашего ума дело. Но не дожить до ирригации своего болота все равно жалко.

Легко над водной поверхностью «блинцы» пускать и глядеть, как они прыгают, разбрасывая мелкие брызги. Но мой бес чрезвычайно строг и одержим гордынею.

И я берегу этого вечно голодного зверька, глажу непокорную шерстку и, не озираясь на результаты, упрямо следую его капризной воле.

Елена Холмогорова, Михаил Холмогоров Похвала банальности

Мы живем в мире прописных истин и штампов.

Истины, выработанные тысячелетним опытом человечества, годам к десяти-двенадцати, когда характер в своем развитии бежит впереди ума, вызывают скуку и раздражение даже у самых послушных мальчиков и девочек. Мы их опровергаем и пытаемся начать жизнь с чистого листа.

Вот он, беленький, лежит на столе и дразнит своей свежайшей нетронутостью. И пока не изуродуем его слезами и кровью, не уймемся. А унявшись, поймем: надо было слушаться папу и маму, первую учительницу и других мудрых людей. Зрелость – это возвращение к банальным истинам, понимание их справедливости. Но второго белого листа никто нам не даст. Он лежит уже перед нашими подросшими детьми, такими же дерзкими и непослушными, и они, к ужасу и состраданию бессильных родителей, один к одному повторяют наши же заблуждения: ленятся, совершают разной степени тяжести антиобщественные поступки, хамят взрослым, ниспровергают заслуженные авторитеты. Даст Бог, они поумнеют при нашей жизни и поймут, в три погибели согнувшись под бременем отрицательного опыта, что банальны не прописные истины, а путь их отрицания с набиванием шишек на некогда ясном лбу. Как высказался один повзрослевший сын: «А ты, папа, поумнел за последние годы».

Нам хорошо известны два реальных случая, когда вовремя изреченные прописные истины, неизменно раздражающие, доводящие собеседника до белого каления, оказались спасительными. Однажды вроде бы предрешенный развод был остановлен пустой на первый взгляд формулой: «Слушай, в конце концов, он же тебя любит. Ну, пусть любит как умеет». И, по трезвому размышлению, супруга, как говорится, охолонула, и не так давно выпивали мы на сороковой годовщине свадьбы.

А в другой раз и вовсе удивительно и даже поучительно, хотя такого рода опыт, увы, не имеет свойства усваиваться. Закрученный деланием карьеры человек глушил-глушил боль в боку но-шпой с анальгином – мол, не до врачей, работа день и ночь. Но почти ставшее междометием «Здоровье дороже», вдруг по непонятной причине истинным смыслом дошедшее до сознания, погнало его в поликлинику, откуда уже на «скорой» его отправили на операционный стол. Говорят, еще немного и…

Оригинальничанье, абсолютизация своей неповторимости на самом-то деле как раз и есть банальность. «Ты себе не представляешь!» – говорит человек, и в это мгновение он в своей неповторимой индивидуальности убежден настолько, что отказывает другому в возможности пережить такое же.

Лучше шею себе свернем, чем поступим «как все». Наука и искусство не двинулись бы вперед без разрушителей банальности. Но в сфере человеческих отношений, как мы ни крутимся, а все возвращаемся к десяти заповедям, данным Моисею. Ну что может быть банальнее запрета «не убий» или «не укради»? А ведь в самом деле – не убей! Не укради! А поживешь, помыслишь, посжигаешь, чему поклонялся, и поймешь, наконец: «Не сотвори себе кумира!» Правда, истина «Не прелюбысотвори» очень долго дожидается своего часа, пока не восторжествует в шекспировской трактовке: «И крепнет нравственность, когда слабеет плоть».

А иные моральные прописи, кажется, не усваиваются человечеством вообще.

Уж сколько раз твердили миру,
Что лесть гнусна, вредна…

Можно подсчитать, сколько: Эзоп – в VI веке до нашей эры; Федр – в I веке уже после Рождества Христова, Жан Лафонтен – в середине XVII; наконец, сам Иван Андреевич – двести лет назад (1808):

…но только все не впрок…

Кому хватило терпения сделать второй шаг в искусстве (первый – почти всегда подражание), стремятся к оригинальности любыми средствами. Ниспровергают кумиров, вышвыривают с корабля современности то Пушкина, то Льва Толстого, незаметно творя себе новых, и дай Бог, если это окажется гениальный Хлебников, а то ведь чаще всего просто амбициозный старший товарищ в компании претендующих сказать свое слово. И счастливец, одолевший третий шаг, с убийственным стыдом увидит, кому внимал как пророку.

Как рождаются дети банальности – штампы? Со штампами политическими, которыми ежедневно нас угощали советские средства массовой информации, все понятно. Живая фраза была заменена формулировкой. Любой шаг в сторону невольно обнажал лживую суть. Или порождал неконтролируемый комизм. Всем известна история, как отличилась одна молодежная газета в романтическую пору оттепели и казенного романтизма, растянув на разворот шапку: «Если делать, так по-большому».

Отплакавшись и отсмеявшись, журналисты объявили решительную борьбу со штампами. Обнаружив таковой, тут же вывешивали в редакционном коридоре на позорную доску. Чем кончилась эта борьба? Газета чуть не онемела. Оказалось, что штамп – едва ли не единственный инструмент советского журналиста. И позорную доску с позором убрали с глаз долой.

Штампы неполитические – чаще всего удачные метафоры, потерявшие свой блеск от злоупотреблений. Давно гуляет штамп «свет в конце тоннеля», приобретающий трагикомический смысл, если вспомнить, что тоннель с ярким светом в конце пролетает человек в момент клинической смерти, чему существует множество свидетельств.

Или вот – «музыка в камне». В ушах навязло. И образа вроде бы никакого. Только почему, когда долго смотришь на творение Шехтеля – особняк Рябушинского или типографию «Утра России» – вдруг начинает в тебе звучать Скрябин? А готический собор поднимает из памяти хоралы Баха? Это значит, что в источнике словесного штампа, как прописной истины вообще, дремлет прозрение, пробуждающееся в моменты вдумчивого созерцания.

Даты рождения Эразма Роттердамского и вышеупомянутого «дедушки Крылова» отстоят друг от друга ровно (год в год!) на триста лет! Без сомнения, именно Эразмов парадокс «Похвала глупости» вдохновил Ивана Андреевича, которого мы знаем исключительно как баснописца (гениального, конечно: надо же сказать: «помертвело чисто поле», не «опустело», не «потемнело» – так ловко уйти от банальности), на сочинение «Похвальной речи науке убивать время», произнесенный в новый 1793 год: «Наконец сбыли мы с рук еще один год, убили триста шестьдесят шесть дней и можем сказать торжественно: не видали, как прошло время!».

Сегодня, спустя пять с лишним столетий после Эразма Роттердамского и уже через двести с лишним лет после Крылова (в такой же високосный, как описал Иван Андреевич, год), мы питаемся тем же парадоксом. Увы, наверное, за это время он успел стать банальностью. Но мы, тем не менее, продолжим.

Символ банальности, заурядности мышления воссоздается элементарно. Это – первая наша реакция на банальный же вопрос. Поэт? – Пушкин. Река? – Волга. Париж? – Эйфелева башня. Ну, и так далее. Забираться вглубь не будем.

Эйфелеву башню мы увидели своими глазами в час, когда солнце погасло за кварталами Монпарнаса, а башня загорелась мощной подсветкой изнутри. И вдруг оказалось, что это действительно гениальное творение художественно-инженерной мысли. Еще оказалось, что она действительно красива, то есть

при колоссальном своем размере изящна и легка, а подсветка как бы поднимает ее над землею, и она висит над Парижем золотистым ажурным столбом. Наконец, оказалось, что она решительно не похожа ни на одно свое изображение ни на плоскости (сотни графических листов с парижской «кормилицей» художники разной меры дарования предложат на любой вкус на вершине Монмартра), ни в пространстве. Покупать у бойких торговцев, толпой окруживших туристов у подножия башни, брелок, воспроизводящий ее, – пустое дело. Эйфелева башня невоспроизводима в принципе.

Поэт? Да, Пушкин. Как ни банально, чуть что – тут же обращаемся к Пушкину. А что поделаешь, если в два года тебя укладывают спать под бормотанье «У лукоморья дуб зеленый…», а в сон вечный проводят с фразой «предполагаем жить, и глядь – как раз умрем».

А вот прямо к случаю: «Она советовалась со своим мужем, с некоторыми соседями, и наконец единогласно все решили, что видно такова была судьба Марьи Гавриловны, что суженого конем не объедешь, что бедность не порок, что жить не с богатством, а с человеком, и тому подобное. Нравственные поговорки бывают удивительно полезны в тех случаях, когда мы от себя мало что можем выдумать себе в оправдание». Пушкин, опять же, только прозой – «Метель».

Фраза, растасканная на цитаты, хоть и вызывает естественное раздражение, все же самая действенная. Она становится общенародной формулой, вживается в язык, как пословица, расширяет круг причастных истине. Цель поэзии – не мораль, а именно расширение круга причастных истине.

И не надо спрашивать, зачем. Истина не накормит, не напоит, в постель с красавицей не уложит. Но почему-то мгновение, когда тебе кажется, что ты обладаешь истиной, – прекрасно, его-то, только его и хочется остановить. Если бы не следующее – сомнение, а точно ли это истина.

Так вот, с Александром Сергеевичем связан удивительный феномен: только ленивый не цитирует по поводу и без сентенцию: «И в просвещении стать с веком наравне». И почему-то уже мало кто помнит, откуда взялась эта строка (а вообще-то ясно почему: крылатые слова отлетают от оригинала, порхая из уст в уста). Но даже тем, кто знает, что это из стихотворения «Чаадаеву», в голову не приходит поднять глаза на три строчки вверх, чтобы прочитать гениальное: «Учусь удерживать вниманье долгих дум».

Почему так?

Процитируем другого русского гения:

«Первое свойство ума, которое я установил, – это чрезвычайное сосредоточение мысли, стремление мысли безотступно думать, держаться на том вопросе, который намечен для разрешения, держаться дни, недели, месяцы, годы, а в иных случаях и всю жизнь. Как в этом отношении обстоит с русским умом? Мне кажется, мы не наклонны к сосредоточенности, не любим ее, мы даже к ней отрицательно относимся.

Следующее свойство ума – это стремление к истине. <…> Во-первых, стремление к приобретению новых истин, любопытство, любознательность. А другое – это стремление постоянно возвращаться к добытой истине, постоянно убеждаться и наслаждаться тем, что то, что ты приобрел, есть действительно истина, а не мираж. Одно без другого теряет смысл. <…> А что же у нас?

А у нас прежде всего – это стремление к новизне, любопытство. Достаточно нам что-либо узнать, и интерес наш этим кончается. («А, это уже все известно».) <…> Истинные любители истины любуются на старые истины, для них это процесс наслаждения. А у нас – это прописная, избитая истина, и она больше нас не интересует, мы ее забываем, она больше для нас не существует, не определяет наше положение. Разве это верно?»

Этот гений – Иван Петрович Павлов. Лекция «Об уме вообще и русском уме в частности», прочитанная в 1918 году, когда свойства русского ума с его стремлением к новизне и нежеланием сосредоточиться вылились в стихию Гражданской войны.

И понятно, почему так распространено сравнительно легкое намерение «И в просвещении стать с веком наравне» (вот и станешь, обегав галопом по Европам и нахватавшись поверхностных знаний, точнее, сведений), а формула трудного пути «Учусь удерживать вниманье долгих дум» выветривается из русских голов. Самое большое усилие воли требуется для мысли. Больше, чем для геройского действия.

А мы, следуя завету И.П.Павлова, будем и впредь любоваться старыми, но (простите за тавтологию) не стареющими истинами.

Пусть прописными.

Даже банальными.

Михаил Холмогоров Похвала занудству

Есть очень точное описание занудства. Зануда – тот, кто на вопрос «Как жизнь?» отвечает, как именно протекает его жизнь да еще с такими подробностями, что веселые весенние мухи дохнут от скуки. Живем-то мы, в общем, почти одинаково, но поскольку уже XXI век на дворе, к чему привыкнуть за минувшее десятилетие едва ли успели, мы все по привычке торопим время: что-то нам еще покажут после бурного конца века двадцатого.

Самое скоротечное, как оказывается, – память. Мы это обнаружили в дни гайдаровских реформ, когда в русских магазинах, как на Западе, появилось ВСЁ. Правда, за деньги. Деньги, которые из пестрых бумажек превратились в собственно деньги. Тут и выяснилось, как быстро народ забыл о пустых прилавках и поговорке «Русский сервис ненавязчив: не нравится – пошел вон!». С такой же легкостью народ вскоре забыл о свободе и прочих своих правах.

Зануда помнит всё. И настолько, что особо выдающиеся из них получают от богов дар предвиденья. Да что толку-то? Первая известная в мировой истории зануда жила в городе Троя. Звали ее Кассандра.

До чего ж она надоела современникам! Как потом, века спустя, Иисус Христос, Галилео Галилей, Джордано Бруно, Джордж Оруэлл, Андрей Амальрик, академик Сахаров.

Правда, инквизиторы, которые отправили Бруно на костер, тоже были изрядными занудами: Джордано и сбежал в науку от их догматического занудства. Да и наш советский Торквемада товарищ Суслов отличался этим же качеством, усугубленным ритуальностью. В селе, где он вырос, признаком достатка были галоши, устланные свежей соломкой. Ему эту соломку обслуга меняла до последних дней. Так что дело не в содержании, а в форме.

Поэзия – дело кропотливое, и сам Пушкин проложил путь к занудству: «Учусь удерживать вниманье долгих дум». Вот попробуйте: тут же увидите, какой силой воли удерживается продолжение хотя бы одной мысли до логического конца – вечно нас что-то отвлекает, срочное, сиюминутное. В конце концов, и пастернаковское «Во всем мне хочется дойти до самой сути» – тоже, доложу вам, песнь занудству. А, как ни дико звучит для обывательского слуха, без этого нет творческого труда. Вспоминается изложенное канцелярским, нарочито канцелярским

и, разумеется, занудным языком пушкинское определение вдохновения: «Вдохновение есть расположение души к живейшему принятию впечатлений и соображению понятий, следственно, и объяснению оных». Другой зануда и тоже поэт Владислав Ходасевич дал в статье «О чтении Пушкина» довольно пространный комментарий к этой фразе.

Занудство, оно же тщательность, входит как непременное требование в состав некоторых профессий. Редакторство, например. Когда явилась столь чаемая свобода слова, издатели сгоряча поувольняли редакторов, благо рынок позволял, даже подталкивал избавляться от балласта. Это ж, дескать, они, редакторы, зажимали рот правде, резали по живому сокровенную мысль, ну, и так далее. Вот теперь-то вздохнем. Вздохнули. И захлебнулись в прорвавшемся потоке словесных нечистот. О массовой безграмотности и невежестве и не говорю. Не такой уж балласт эти зануды со своими требованиями – помимо цензуры политической (на что, кстати, существовал над редакторами так называемый главлит) редакторы предъявляли требования эстетического характера. То, что обиженные авторы называют вкусовщиной. Так в идеале редактор и должен обладать хорошо развитым вкусом, а желательно еще – врожденным поэтическим слухом.

Ни один автор не гарантирован от ошибок, даже если по второй профессии сам редактор. Мы же полагаемся на память. Но она материя тонкая, а посему рвется в самых неожиданных местах. Тут же дыру заштопывает фантазия. И вот результат: однажды ляпнул в печати, будто над «Метрополем» врубелевская… нет, не принцесса Греза, а с какой-то стати царица Савская. Навеяло с полузабытых страниц Библии. Или вот: в своем романе «Жилец» я зачем-то отдал Советскому Союзу Кишинев за пятнадцать лет до его «добровольного» присоединения. Просто событие это не удержалось в памяти, а столица Молдавской ССР на карте впечаталась в сознание с детских лет. Вот один зануда и поймал меня на этой ошибке, за что ему от меня искренняя благодарность. В критическом запале он уличил меня в том, что чекисты занялись самоедством лишь в тридцатые годы, а до того берегли свои драгоценные кадры. Но тут сошлюсь на авторитет графа А.К.Толстого, признавшегося, что в «Князе Серебряном» он умышленно сдвигал времена правления Ивана Грозного.

И занудству есть свои пределы. Помнится, когда в школе проходили «Горе от ума», легко и бездумно выработалось презрение к Молчалину с его формулой «Умеренность и аккуратность». А через год стали проходить стереометрию, где от

нас в первую очередь и потребовалось: умеренность и аккуратность. Качества эти даже в стремительном хоккее уместны. Один раз в жизни был на матче, и самое яркое, что запомнилось, не голы, а крик Анатолия Фирсова партнеру Юрию Моисееву:

– ТщательнЕе, Юра, тщательнЕе!

Зато совершенно неуместно занудство на светском рауте, где мысли не дозволено ни расплываться вширь, ни углубляться до дна – с нелепого положения Пьера Безухова в салоне Анны Павловны Шерер завязывается интрига «Войны и мира».

Занудство и в пушкинские времена не поощрялось. Помните мнение света об Онегине? «Ученый малый, но педант». Поскольку слово «педант» пришло нам, как суп к столу Хлестакова на пароходе из Парижа, оно воспринимается не столь негативно, как наш русский зануда. Вообще заимствованные слова мы употребляем как эвфемизмы, изящную скорлупку для гнилого ореха. А в сущности одно и то же. Впрочем, абсолютных синонимов не бывает. Представьте себе некоего скрупулезного до мелочей человека, который устраивается на работу. Новый начальник, разумеется, пытается узнать, каково о нем общественное мнение. Если ему скажут, как об Онегине, схватит обеими руками. Но услышав «зануда», непременно протянет с таким задумчивым видом: «Зайдите, а лучше позвоните завтра». Это из тех завтр, которые не наступают никогда.

Вечно эти зануды своими каверзными вопросами типа «а что будет, если…» стреножат «души прекрасные порывы». А порывы эти не так хороши, как кажутся в момент восторга. Революции уничтожают сами себя, если на смену романтикам, возбудившим народ, не приходят зануды, понимающие, что делать наутро после победы.

На смену оголтелому романтику и душегубу Робеспьеру должен прийти зануда, впрочем, тоже изрядный душегуб, Наполеон, позаботившийся издать такие законы, которые неукоснительно исполняются до сих пор.

Реформаторы, в отличие от бестолковых даже при наличии недюжинного ума революционеров, отличаются именно занудством. Только наша нетерпеливость, склонность сию же минуту рвать незрелые плоды не дает завершить эти занудные повседневные преобразования, а тщательность врагов всяческих перемен – тихих, как мышки, бюрократов – разворачивает уставшее общество назад. Зануды романтические проиграли занудам реалистическим. Чук всегда успешнее Гека, «зато Гек умел петь песни». Отчего-то Гек, зануда-романтик, мне милее Чука-реалиста.

Елена Холмогорова Похвала ночным кошмарам

Земная жизнь кругом объята снами.

Федор Тютчев

Сладко ль видеть неземные сны?

Александр Блок

В Тверской области недалеко от нашего Устья есть деревня с удивительным названием – Сновидово. Мне следовало бы жить именно там. А может быть, и родиться…

Я всегда, с самого детства, видела сны. Если бы я их записывала, набралось бы многотомное собрание сочинений. Но сны редко поддаются не то что записи – даже пересказу. Кажется: все помнишь в деталях, начинаешь и сбиваешься, стройная только что логика рассыпается, диалоги не восстанавливаются, а яркие картины тускнеют и расползаются, как в детстве передержанная в воде переводная картинка.

Впрочем, бывает по-всякому.

Я не читаю детективов и никогда не смотрю никаких «страшилок» в кино или по телевизору. Тем страннее мой вчерашний сон. Какой-то щупленький маленький человечек хочет меня убить. Он своего намерения не скрывает, даже показал мне пистолет, правда, странно большой, похожий на автомат. Я этого почти карлика очень боюсь. Но, как ни странно, он вроде бы живет у меня дома. Я с ужасом рассказываю всем о нависшей угрозе, но мне не верят (прямо по Маркесу – «хроника объявленной смерти»). Последняя капля: он сидит за моим столом и ест перепелиные яйца. Перед ним на тарелке целый десяток. Сначала он брюзжит, что они плохо чистятся, а потом устраивает скандал: почему у меня нет подставок для перепелиных яиц, и как же он будет их есть, если захочет сварить всмятку?

Несмотря на то что наяву карикатурность всего этого совершенно очевидна, пробуждение не приносит мгновенного облегчения. И еще какое-то время остаешься во власти липкого страха, обводишь глазами комнату, как бы пробуя реальность на вкус, и лишь затем с облегчением вздыхаешь – это был сон. Но еще не раз вернется вопрос: что же он означал? Страх смерти,

боязнь предательства? Предупреждал о реальной опасности?

А недавно мне снилось, что в доме полно гостей (причем не в моем доме, все кругом чужое, но я точно знаю, что здесь хозяйка) и я всех гоняю курить на лестницу. И то и дело кричу: «Смотрите, не выпустите кошку!» (это точно как в жизни). Но самое главное: я во сне физически чувствую, как дует, веет холодом по ногам – отсюда и страх, что дверь распахнута.

На прошлой неделе я во сне расхваталась кому-то, как много вырастила рассады (чем не занималась никогда – не люблю и не умею), стала вынимать из какого-то шкафа пластиковые ящички и вдруг поняла, что давно росточки не поливала, и они, и без того хилые, поникли, безнадежно скукожились. Я хватаю графин (очень красивый, старинный, граненого синего стекла с серебряным, дивно изогнутым носиком) и начинаю лить живительную влагу в иссохшую землю. И будто в учебном фильме по ботанике, который показывали нам в школе, заряжая огромные бобины с пленкой в жужжащий проектор, на глазах, медленно и плавно листочки расправляются, стебли выпрямляются и растут-растут…

Вроде бы нелепые, немыслимые в жизни детали так органичны, так естественны во сне, а смещение масштабов переживаний – так понятно и непререкаемо.

Иногда сновидения настолько реальны, что я просыпаюсь, совершенно не выспавшись. Обычно это вполне нейтральные сны, но длинные и подробные. И получается, что по ночам проживаешь еще одну жизнь, а вовсе не отдыхаешь, как полагается, то есть, как говорится, «забыться сном» не выходит. Иногда, проснувшись, не сразу понимаю, где сон, где явь. Есть понятие «цветные сны». Я даже не улавливаю его смысла – какие же еще? Какая жизнь, такие и сны. И, собственно, ночные кошмары как раз приходят редко, не чаще, чем, по счастью, случаются в жизни.

Наверное, у каждого есть повторяющиеся сны. У меня их два. Один, не сомневаюсь, общий для многих. Я укладываю вещи, они не влезают в чемоданы, все выскальзывает из рук, а очень важно ничего не забыть, и времени на сборы уже совсем не остается… Да и второй, скорее всего, не оригинален. Я обнаруживаю в квартире лишнюю комнату. Главное чувство: как же это раньше я о ней не знала! И начинаю строить планы: библиотека? Спальня? Сломать стену и сделать огромную гостиную? Говорят, что это очень хороший сон, сулящий новые, неиспользованные возможности, скрытые до поры резервы.

Мне часто снятся умершие люди как живые, причем молодые, иногда такие молодые, какими я их не знала. Вот недавно снилась бабушка в огромном капоре, как на единственной ее

детской фотографии. Мы гуляли в заснеженном саду, и она просила у меня прощения за то, что постирала мою любимую игрушечную собачку Джерри, а та оказалась не сшитой, а склеенной и расползлась. Это действительно было в моем детстве. Но во сне все увиделось наоборот: бабушка стала девочкой, а я – взрослой. Ужас в том, что я не только не простила, но сказала, что не прощу никогда. Куда делось мое великодушие?! Сон, в котором ведешь себя безнравственно, – вот подлинный кошмар, потому что я знаю, как следовало вести себя, потому что я на самом деле лучше, благороднее, потому что мне стыдно. Сон даже хуже яви – ему нельзя приказать вернуться на другую ночь, чтобы попросить прощения, а в жизни не все непоправимо…

Меня в снах поражает всегда не то, что, собственно, происходит, не странные сопряжения и допущения, воспринимаемые естественно, а с одной стороны – физически осязаемые вещи (как сквозняк, прохвативший ноги) и нравственные радости, страдания или же угрызения совести.

Вопрос о том, как соотносятся сны с дневными переживаниями, меня занимает мало. Я столько за жизнь проанализировала своих снов, что вполне убедилась в произвольности любых трактовок. А как в юности мы упивались запретным Фрейдом, его «Толкованием сновидений», пытались вычленять те самые «дневные остатки», стыдясь тогда еще не так откровенно высказываемых сексуальных подтекстов… А сейчас мне это кажется таким же наивным, как «Сонник» Мартына Задеки.

И все же мы придаем значение снам, рассказываем о них, пытаемся проследить, откуда они могли произрасти и к чему ведут. А сны, описанные в литературе, особенно вещие, привыкли числить по ведомству банальностей или красивостей. И если готовы стерпеть библейские сны Иосифа и античные сны Гекубы, то уже «сон Татьяны», потому только, что это Пушкин, а прочее – от лукавого, не говоря уж о всех пяти снах Веры Павловны. Но это универсально: жизнь богаче литературы. О чем-то случившемся реально, но казавшемся невероятным мы говорим, «как в романе», зато придуманному, где допускаются немыслимые совпадения, не прощаем, говорим «так не бывает».

Мы не готовы поверить, что Вагнер увидел во сне музыкальные темы «Тристана и Изольды», а Менделеев – со школьных лет известную нам таблицу, но к собственным сновидениям относимся с завидной серьезностью.

Слово «сон» обозначает и сновидение, и процесс сна. Так и просится использовать это как доказательство того, что сна без

снов не может быть. Но, например, в «невеликом и немогучем» английском языке, тем не менее покорившем весь мир, эти значения разведены в два разных слова, зато «видеть сны» и «мечтать» обозначаются одним словом «dream», а во избежание двусмысленности мечты иногда определяются как дневные сны – “daydream”, то, что по-русски, пожалуй, адекватно устаревшему «грезить наяву».

Почему, как правило, между мыслью, с которой засыпаешь, и первой утренней пролегает пропасть? Почему «утро вечера мудренее»? Почему, «восстав ото сна», надо сотворить молитву «прежде всякого другого дела»? Ответ лежит на поверхности: всякий сон – прообраз смерти, ведь во многих религиозных и философских системах постулируется, что на это время душа покидает тело.

А ночные кошмары хороши тем, что можно «легко проснуться и прозреть» и, стряхнув сон в обоих значениях слова, изумиться: насколько, оказывается, на самом деле прекрасна так мало ценимая нами жизнь…

Михаил Холмогоров Похвала арьергарду

Моя молодость пришлась на время геронтократии. Сменившие Хрущева вожди неудержимо старели, впадали в маразм, подбадривая себя на юбилеях: «Вы, Леонид Ильич, вступаете в возраст творческой зрелости» – говорилось в дни его семидесяти– и повторялось в семидесятипятилетие. «Молодому» Горбачеву, когда он пришел наконец к власти, аккурат стукнуло пятьдесят четыре года. Ленин в этом возрасте уже лежал в мавзолее.

Литература как зеркало эпохи в те годы тоже страдала геронтократией, и, как тогда острили, лучшей рекомендацией в союз писателей была справка о реанимации: средний возраст члена творческого союза превышал 60 лет. Впрочем, для меня беда обернулась выигрышем: наивные упражнения, когда руководствовались неоригинальным стремлением быть оригинальным, сами собой исчерпались в черновиках. Первая публикация прозы состоялась, когда мне было тридцать семь лет, а первая книга вышла еще шесть лет спустя: в 1985-м. Правда, ее целый год изучала цензура, рассвирепевшая по приказу Андропова, и так пощипала, что пришлось немало потрудиться, чтобы заполнить восемь опустошенных страниц.

Арьергард вступает в сражение, когда иссякли силы авангарда. Им и одерживаются чаще всего победы. Мне довелось изучать историю русско-турецкой войны 1877 – 78 годов на Кавказском фронте. После первых побед русская армия ждала подкреплений, но турки пришли в себя и сосредоточили против нее заметно превосходящие силы. Пришлось отступать, и тут проявился стратегический талант командующего русской армией генерала М.Т.Лорис-Меликова. Арьергард при отступлении давал такие сражения, что противник не смог воспользоваться своим численным превосходством, да он и не догадывался об этом. К сожалению, наука отступать не очень изучалась в наших военных академиях, что катастрофически сказалось в последующих войнах.

К какому авангарду ни подступись, там уже толпы тщеславцев.

Всем хочется быть первыми, несмотря даже на полное отсутствие задатков. Едва возгласили Хлебников и Маяковский будетлянство, орава стихотворцев заявила о принадлежности к футуризму. В живописи шедевры Кандинского были затоптаны

стадами клевретов и подражателей.

Песнь социальному арьергарду сложил Веничка Ерофеев, оплевав карьерную лестницу с ее нижней ступени.

В силу замедленной реакции в детских игрищах и забавах мне чаще всего приходилось являться уже к шапочному разбору, если не позже. Но не зря для таких типов Эзоп и дедушка Крылов написали «Лисицу и виноград». Не такой дешевый, но способ успокоить досаду и даже извлечь неожиданные преимущества всегда найдется.

И первое нашлось в истории искусств.

При всей любви к импрессионистам должен признать: ну куда им до Рафаэля и Микеланджело, еще в XVI веке поставившим вопрос о сомнительности прогресса в таком тонком деле, как живопись.

Один мой знакомый, поклонник Баха и Моцарта, заявил как-то, что в своем музыкальном развитии он застрял на уровне восемнадцатого столетия.

Притча о хозяине виноградника для меня, несмотря на все ее толкования, – самое уязвимое место в Евангелии. Здесь Иисус Христос оправдывает произвол («Разве я не властен в своем делать что хочу?» – Мф. 20:15) и очевидную несправедливость. Но я о другом, о конечном выводе: «И последние станут первыми» – не хвала ли арьергарду?

Поспешай не торопясь.

Нео-, пост– – ничего нового. Кажется, все уже написано, все сказано. Чем держится литература? Известное дело: тот не критик, кто не хоронил литературу. От Бестужева-Марлинского до наших акул и килек пера.

«Во всем мне хочется дойти до самой сути». Заметьте – не добежать. Хождение к сути не терпит суетливой скорости. Прекрасное и есть в искусстве его суть, а, как сказано, «прекрасное должно быть величаво».

Уже приходилось рассказывать, что Иван Петрович Павлов в 1918 году на драматические события России отреагировал специально прочитанным циклом лекций на тему «Об уме вообще и русском уме в частности». Одну из истин, открытых Павловым в тех лекциях, я много раз вынужден повторять себе: «Очевидно, у нас рекомендующими чертами являются не сосредоточенность, а натиск, быстрота, налет. Это, очевидно, мы и считаем признаком талантливости; кропотливость же и усидчивость для нас плохо вяжутся с представлением о даровитости. А между тем для настоящего ума эта вдумчивость, остановка на одном предмете есть нормальная вещь». Я в своей жизни наворотил уйму ошибок. И чаще всего, анализируя их, начинал догадываться, что

произошли они от этих самых «натиска, быстроты, налета».

Не надо никуда торопиться, даже в ситуации катастрофы следует хотя бы на миг остановиться, осмотреться, обдумать. Лучшее средство против паники, эмоционального вовлечения во всеобщий ажиотаж. Тут нужны известное мужество и воля. А мы и в обыденной жизни спешим, как на пожар.

Это слепое устремление к новизне сказывается в такой области, как топонимика. Сколько улиц, площадей, заводов, кинотеатров, клубов носит гордое название «Авангард»! А вы хоть раз встретили кинотеатр «Арьергард»?

Когда-то вычитал, что Флобер, опекавший молодого Мопассана, долго – целых семь лет – не позволял печататься своему бойкому и несомненно талантливому другу: ждал, когда созреет.

Жажда непременного первенства вовсе не означает силы. Первый подчиняется импульсу. Может, как раз в арьергарде и скапливается подлинная сила, сила души и ума. Отставший вынужден умнеть, во всяком случае, набираться мудрости.

В арьергарде есть риск опоздать к последней раздаче. Не всякому последнему дано стать первым. Ну да, риск. А где его нет? Даже Обломов всем своим образом жизни рисковал и в итоге оказался обманут и разорен.

В сегодняшней литературе арьергард – это чистый, грамотный, благозвучный (в соответствии со своей музыкальной природой) русский язык. И полная свобода от всяческих манифестов и деклараций.

С приходом в технику письма компьютера возникла возможность сочинять не последовательно, глава за главой, а произвольно: сегодня ты вписываешь абзац в двадцать третью главу, а завтра возвращаешься к прерванной на полуслове четвертой. Я так и попробовал, когда писал свой роман «Жилец» – расположил главы по внутренней логике, поступившись шкалой времени. И все под руками расползлось, пока не догадался вернуться в застарелую арьергардную форму гончаровских и толстовских повествований – соблюдая элементарную хронологическую последовательность. В одном издательстве рукопись вернули со словами: «Как будто в девятнадцатом веке написано». Я воспринял как комплимент, притушивший досаду. Им нужны великие потрясения, а мне – великая литература. А сейчас, когда извечная гордость великороссов «русские – самый читающий народ» растворилась в тумане рыночных преобразований, само по себе чтение – немыслимый арьергард.

Молодежь даже потребности в чтении не испытывает. И это чрезвычайно радует властителей. Когда премьер встречался с молодежным министром, речь шла не о просвещении, не о

духовном, а исключительно о физическом развитии юношества. Пушечному мясу мозги не нужны.

Эпигонство. Слово ругательное. Помню, разговорился со старым литератором, он мне поведал, как в 20-е годы в издательство, где он работал, приходил известный в будущем советский писатель. Прочитав начало его нового романа, редакторы едко спрашивали:

– А вы что, на ночь «Воскресение» читали?

Или:

– «Обрыв»?

Но вообще-то период эпигонства в молодости проходят все писатели. Опыта жизненного нет, а читательского – с избытком. Тем более что есть классики такой обвораживающей силы, что рука сама выписывает фразу в ритме у кого Льва Толстого, у кого – Андрея Платонова или, скажем, Бунина.

Тут все как повернуть. Можно сказать об арьергардисте – «плетется в хвосте событий», а можно отметить важнейшее достоинство: находящийся в арьергарде имеет возможность учиться на чужих ошибках.

Мы вечно клянем свою отсталость от Европы, зато в этой заторможенности умудряемся обойти ее заблуждения – не участвовали в безумных крестовых походах, миновали инквизицию (хотя наш Иван Грозный за тридцать лет правления народу поистязал едва ли не больше, чем вся святая инквизиция за пятьсот. Жертвы Сталина исчисляются миллионами, он в жестокостях вступил в «соцсоревнование» с Гитлером и победил с великим преимуществом). То, что свидетельствует о загнивании, принято нынче велеречиво называть «Россия сосредотачивается». В процессе «сосредоточения» отстает не то что от «передовых», а самых скромненьких по темпу развития. Кстати, фраза эта, вошедшая ныне в моду, была изречена князем А.М.Горчаковым накануне великих реформ Александра Второго, когда вокруг братьев Милютиных вовсю работали Редакционные комиссии, готовившие освобождение крестьян. Мы же сегодня занесли ногу, чтобы наступить на грабли Александра Третьего.

Писатель читающий

Михаил Холмогоров Илья Ильф: «У меня отобрали крылья»

Он имел дерзость уйти из жизни без приговора Особого совещания в апреле 1937 года. Властитель жизни и смерти своих подданных такого не спускал никому – достаточно вспомнить посмертную судьбу Константина Вагинова или Андрея Белого, проклятье с их имен не было снято до самой перестройки. Лояльность в расчет не бралась. Хотя поначалу с Ильей Ильфом все вроде бы обстояло благополучно – его соавтор, брат государственного писателя, тоже был обласкан; тяжело пережив смерть друга, сумел издать в 1939 году его «Записные книжки», с горем пополам начал-таки новую жизнь, заставил себя писать, и фильмы по петровским сценариям пользовались успехом. Гибель на фронте обещала посмертный почет…

Ничего подобного в марте 1955 года я и в мыслях не имел, когда сосед по квартире дал мне почитать книгу в типичном послевоенном «совписовском» переплете – желтую с рамочкой; такую же, но голубую, года три назад читал – «Белеет парус одинокий». А желтая – «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». Прочитана запоем, и, пока сосед не попросил вернуть, успел еще пару раз перечесть.

А осенью следующего года посчастливилось самому купить только что изданные романы И.Ильфа и Е.Петрова. Вот тут и начались вопросы. Свежая память тринадцатилетнего подростка была немало удивлена тем, что несколько ярких острот, врезавшихся с первого впечатления, куда-то исчезли. О свирепой царской цензуре мальчик был наслышан хорошо, едва в школе начали Пушкина проходить. Но у нас же свободная страна! Великий же Октябрь навсегда покончил с произволом цензуры!

Как бы то ни было, книга Ильфа и Петрова надолго стала настольной, пока цитаты из нее, сыпавшиеся отовсюду, не осточертели. Таково свойство хорошей сатиры – она быстро «залюбливается», и волна упоения сменяется волной охлаждения (потом подобное произойдет и с булгаковским романом). И только спустя годы возвращаешься к некогда любимым вещам, проверяешь былые восторги на прочность, а произведение на право вечности. С этой книгой, перечитанной в зрелые годы, произошел странный эффект: если в отрочестве ошеломили «Двенадцать стульев», а «Золотой теленок» нравился как бы по инерции, то золото «Теленка» по испытании временем оказалось чище на пробу и тяжелее.

Литература – дама коварная. Она заманивает игрой, тешит молодое тщеславие, но, по мере погружения в нее, оборачивается гоголевской панночкой из «Вия», и горе беззаботному философу! «Двенадцать стульев» (история создания достаточно широко освещена в мемуарах Паустовского и Катаева) писали молодые зубоскалы, легко и беззаветно принявшие революцию и полные самых светлых надежд и ожиданий. Тогда они не знали ни печали, ни жалости и в нетерпении торжества обещанного властью рая с легкостью расправлялись с живыми анахронизмами, очень по тем временам смешными остатками старого режима – дворянами, попами, буржуями, в общем-то, не видя за «людьми раньшего времени» решительно ничего достойного сочувствия.

Сатира «Золотого теленка» – совершенно другого рода. У нее иное направление, не в прошлое, а в настоящее. Уже первый объект насмешки – спекуляция на революционных святынях – не столь безобиден и идеологически безупречен. Но по мере развития детективного сюжета развивается и мысль, не оставляющая надежд на скорый рай на земле. Бюрократизм и коррупция, явленные глазам веселых сочинителей, – это не пережиток прошлого, это отличительные свойства нового времени. И стиль вроде тот же, и структура шуток мало изменилась, а роман принципиально другой, он дает в осадке большую печаль. Его концовка обладает убойной силой:

«Он обернулся к советской стороне и, протянув в тающую мглу толстую котиковую руку, промолвил:

– Все надо делать по форме. Форма номер пять – прощание с родиной. Ну что ж, адье, великая страна. Я не люблю быть первым учеником и получать отметки за внимание, прилежание и поведение. Я частное лицо и не обязан интересоваться силосными ямами, траншеями и башнями. Меня как-то мало интересует проблема социалистической переделки человека в ангела и вкладчика сберкассы. Наоборот. Интересуют меня наболевшие вопросы бережного отношения к личности одиноких миллионеров…»

Тут бы и поставить точку. Но под солнцем сталинской цензуры монолог пусть даже и «отрицательного» героя мог стоить головы авторам. И хотя эпизод с румынскими пограничниками написан твердой мастерской рукой, он кажется привязанным искусственно, чтобы упрятать подлинный конец. Стоял уже 1931 год – тот год, когда Юрий Олеша констатировал: «Литература окончилась в 1931 году». И не оставляет ощущение, что «Золотой теленок» был тогда ее последним произведением. Ильф придет к этой истине пять лет спустя, и в его последней записной книжке

появится печальная констатация: «Это неприятно, но это так. Великая страна не имеет великой литературы».

Но куда потом делся писатель Ильф и Петров? После «Золотого теленка» – одни газетные фельетоны, отнюдь не сатирический рассказ «Тоня» и книга чистой публицистики «Одноэтажная Америка». А писательская зрелость, явленная во втором романе, не может не развиваться, это уже процесс физиологический.

Впрочем, вопрос этот из серии риторических. В ту пору многие исчезли из литературы, продолжая физическое существование и даже печатаясь. Партия виртуозно овладела искусством накидывать платок на чужой роток. На роток, но не на мысль. Лет через пятьдесят вся страна ахнет, увидев наконец, какие шедевры писались в подполье.

К сожалению, почти не сохранилось свидетельств тому, как в тридцатые годы протекала внутренняя, духовная жизнь Евгения Петрова. Мемуаристы больше говорят о внешних проявлениях характера Е.Петрова – его доброте, его порядочности.

Зато остались «Записные книжки» Ильи Арнольдовича Ильфа.

Илья Эренбург в книге «Люди, годы, жизнь» писал об Ильфе: «Он умер в чине Чехонте, а он как-то сказал мне: «Хорошо бы написать рассказ вроде “Крыжовника” или “Душечки”…» – И дальше, со ссылкой на авторитет Евгения Петрова: «Мне тоже кажется, что записные книжки Ильфа не только замечательный документ, но и прекрасная проза. Он сумел выразить ненависть к пошлости и ужас перед ней».

Если говорить о чинах, то Эренбург, пожалуй, не совсем прав. Все-таки ранг Чехонте предполагает, как в молодые годы самого Чехова, как в пору работы в «Гудке» молодых фельетонистов Ильфа и Петрова, юмор чистый и беззаботный, не отягощенный той глубокой печалью и зрелостью мыслителя, которые проглядывают со страниц «Золотого теленка» и которыми с каждым годом преисполняются записные книжки Ильфа.

Теперь «Записные книжки» изданы полностью, без купюр и в хронологическом порядке. Сохранены даже записи совсем незначительные – материалы для газетных очерков, путевые заметки, телефоны знакомых, подсчеты истраченных денег, книг, взятых почитать, игра в слова – любимое развлечение русских интеллигентов на советских собраниях, списки сделанных фотоснимков и проч.

Впрочем, Илья Ильф незадолго до смерти догадался, что его наброски какую-то самостоятельную ценность имеют. А может, причиной тут была вовсе не догадка, а то обстоятельство, что в путешествии по Америке Илья Арнольдович купил пишущую

машинку и на этом душевном хламе отрабатывал технику скоропечатанья. Так что не будь той счастливой покупки, не видали б мы тщательно отобранных, подредактированных записей последнего года его жизни. Сюда же автор перенес фразы из нескольких предыдущих книжек. Шутки грубые, брутальные остались ждать своего часа между телефонами знакомых и рисуночками лихим пером. Блокноты, заведенные до 1936 года, так и застряли, забытые, в карманах изношенных пиджаков и в тумбочках письменного стола.

Самые первые книжки – за 1925 год – разочаруют искателя смешного, они могут показаться даже скучными – это все заметки командированного в Среднюю Азию журналиста железнодорожной газеты. Литература пока – в мечтах, отложенных на неведомое «завтра», которое, как известно, не у каждого наступает. Но уже проглядывают львиные коготки ильфовского стиля: острый глаз, лиризм и тонкий слух на отрыв от содержания его словесной формы. «28° Реомюр в тени. В такой атмосфере облачка кажутся ватой, лежащей на операционном столе». Странный эффект: описывается несносная жара, но образ ваты на операционном столе создает ощущение прохлады. Таково вообще свойство Ильфа – его сравнения, взятые вроде бы наугад, сводят понятия почти, а то и абсолютно несоединимые. Чаще всего на этом месте возникает комизм, здесь же – чистая лирика: расширяется ассоциативное поле, и далекие друг от друга слова обживаются в единой фразе. Это ведь зависит от задачи: все примиряющий лиризм или едкая, как соль на ране, сатира. Лирика и сатира всегда рядом, у Ильфа же нередко в пределах одной записи.

Впрочем, поводов для сатиры пока не видно. Книжки 1925 года – это записи молодого энтузиаста о революционных преобразованиях застрявшей в давно минувших столетиях Средней Азии. Как ни силен энтузиазм, как ни веселит душу экзотика, они не ослепляют писателя, и комические стороны жизни не ускользают от его проницательных глаз: «Молодые узбеки с несколько излишним усердием обходят закон пророка и хлещут пиво». Наконец, запись, в которой явствен стиль зрелого Ильфа с его неуемным скепсисом, чутким на малейшее отклонение от реальности даже в вывеске. «Ташкент – Куриный базар. Кур не видно, зато сколько угодно штанов и местной рулетки. Это круглый стол, утыканный по всему краю гвоздями. Снизу крутится штуковина с гусиным пером. Стол завален собаками и зубными порошками. Можно выиграть и медный самовар. А можно и не выиграть». Ритмика фраз этой записи, а соответственно и авторской мысли – отличительное свойство

ильфовского юмора, его дотошной наблюдательности, стремящейся увидеть явление насквозь, до изнанки. Концовка отдает легкой пока печалью. Ее налет, что обнаруживается в первых книжках, обернется беспросветной тоской в последних, писанных незадолго до смерти автора: «Пошел в Малаховку купить мисочку. В малаховском продмаге продается “акула соленая, 3 рубля кило”. Длинные белые пластины акулы не привлекают малаховскую общественность. Она настроена агрессивно и покупает водку. В универмаге Люберецкого общества потребителей стоит невысокий бородатый плотник в переднике. Ну, такой типичный “золотые руки”. Дай ему топор, и он все сделает. И борода у него почерневшего золота. Он спрашивает штаны. “Есть галифе, 52 рубля”. Золотые руки ошеломленно отшатывается. Хорош бы он был в галифе! У палатки пьет морс дачник в белых, но совершенно голубых брюках. Сам он их, что ли, подсинивал? В пыли, с музыкой едет на трех грузовиках массовка. Звенят бутылки с клюквенным напитком, гремит марш. Они едут мимо магазина, где продается соленая акула. Откуда в Малаховке акула? На выбитом поле мальчики играют в футбол. Играют жадно, каждый хочет ударить сам. В воротах стоят три человека. Еще просится четвертый, но его не пускают. Все-таки непонятно, откуда взялась соленая акула. Мисочки не нашел. Еще продается лещ вяленый и соленый». А ведь это вполне законченная новелла, и все в ней есть – и злая сатира, и нежнейшая лирика с этими азартными мальчиками, но и над лирикой, и над сатирой распространяется удушающая философическая тоска. И не надо писать никакого «Крыжовника» – во-первых, он, как и «Вертер», уже написан, а во-вторых, текст про некупленную мисочку сам по себе высочайшей пробы. Зародыш – там, на ташкентском Курином базаре. А вспомнилась малаховская новелла, при всей их несхожести, по прямой ассоциации с ранней книжкой 1925 года.

Верный признак удачи – разрушение первоначального замысла. Тот самый случай, который испытали сами авторы «Двенадцати стульев» и «Золотого теленка», когда на их изумленных глазах третьестепенный по первоначальному плану персонаж вырвался в главные герои обоих романов. По «Записным книжкам» Ильфа видно, как разрушается с восторгом принятая идеология. Еще летом 1930 года возможна такая нравоучительная запись:

– Нам нужен социализм.

– Да. Но вы социализму не нужны.

Тут социализм представляется писателю неким раем для ангелов и вкладчиков сберкассы, куда ни за что нельзя пускать

приспособленцев и демагогов. Но глаз видит, а мысль работает. «Это уже говно, но еще не то, что нам нужно», – записывается в том же году всего месяц спустя. Тут же, кстати, и об ангелах. Запись, полная тоски и печали, одна из любимейших во всем своде ильфовских набросков:

« – Ты меня слышишь?

– Да, я тебя слышу.

– Хорошо тебе на том свете?

– Да, мне хорошо.

– Почему же ты такой грустный?

– Я совсем не грустный.

– Нет, ты очень грустный. Может, тебе плохо среди серафимов?

– Нет, мне совсем не плохо. Мне хорошо.

– Где же твои крылья?

– У меня отобрали крылья».

Пока еще, в силу сравнительного вегетарианства эпохи, крылья отбирают не навсегда, их всего лишь подрезают:

« – Вы марксист?

– Нет.

– Кто же вы такой?

– Я эклектик.

Стали писать – “эклектик”. Остановили. “Не отрезывайте человеку путей к отступлению”.

Приступили снова.

– А по-вашему, эклектизм – это хорошо?

– Да уж что хорошего.

Записали: “Эклектик, но к эклектизму относится отрицательно”».

Запись эта целиком попала в рассказ «Литературный трамвай», написанный соавторами через два года. Интересно заметить, что год от году все меньше становится реализуемых в рассказах и фельетонах записей. В последней, самой объемной и самой содержательной по мысли книжке таковых нет почти ни одной. А как реализуешь в благонамеренной советской печати такой пассаж на тему чистки, уже отдающей запахом крови: «Один молчал, когда надо было говорить. Другой говорил, когда надо было молчать. Третий работал в поезде. Четвертый был юнкером. Семнадцать лет этого не знал никто. Но города гибнут, миллионы людей исчезают, а бумажка остается. Выкинули и того, который говорил, и того, который молчал. Справедливый финал»? «Композиторы уже ничего не делали, только писали друг на друга доносы на нотной бумаге». «В одной комнате собрались сумбурники, какофонисты, бракоделы и пачкуны». Откуда в такой

атмосфере взяться великой литературе? Пусть даже и в великой стране. Зато пошлости без великой литературы уютно, и, в отличие от печального регистратора ума холодных наблюдений, она вся излучает оптимизм и непереносимо криклива: «Хам из мглы. Он так нас мучил своими куплетами про тещу, командировки и машинистов, что уже не хотелось жить…» Вывод: «Умирать все равно будем под музыку Дунаевского и слова Лебедева-Кумача».

Всеми исследователями отмечается глубочайший пессимизм последних ильфовских записей. Пессимизм и мужество – о смертельной болезни лишь беглые намеки. И ощущение такое, что не туберкулез источил слабые легкие писателя – его задушила пошлость в краю непуганых идиотов.

Издание, хоть и неполное, «Записных книжек» И.Ильфа в 1939 году можно отнести к разряду чудес. И подвигу всех, к этому изданию причастных, начиная с Евгения Петрова. Как ни тщательно купировали тексты (нет, к примеру, записи, кочевавшей из книжки в книжку, где ценится не то что слово – буковка: если в старинное «Св. Иосиф» вставить маленькое «о», получается неслыханная крамола: «Сов. Иосиф»), все же сентенции о композиторах, пишущих доносы, о справедливом финале, постигшем грешников семнадцать лет спустя, в этой книге присутствуют.

Зато следующее явление в мир И.Ильфа и Е.Петрова не осталось безнаказанным. Речь идет о той самой книге 1948 года издания в серии «Избранных произведений советской литературы», которую сосед дал мне почитать, не ведая того, какой бедой могло обернуться для него одно хранение этого шедевра. Ведь по книге прошлось постановление ЦК ВКП(б), и, значит, попадись она при случайном обыске, десять лет по статье 58 – 10 обеспечены.

По нотам того времени партийному постановлению должна предшествовать «инициатива снизу». Она и была проявлена. На адрес Сталина и Маленкова под грифом «секретно» направляется «Постановление Секретариата Союза Советских Писателей СССР от 15 ноября 1948 года». В нем сказано:

«Секретариат Союза Советских Писателей СССР считает грубой политической ошибкой издательства “Советский писатель” выпуск в свет книги Ильфа и Петрова “Двенадцать стульев” и “Золотой теленок”. Ошибка эта имеет тем большее значение, что книга вышла массовым тиражом (75 тысяч экземпляров) по серии “Избранные произведения советской литературы”…

Авторы преувеличивали место и значение нэпманских

элементов <…> авторам присущи были буржуазно-интеллигентский скептицизм и нигилизм по отношению ко многим сторонам и явлениям советской жизни, дорогим и священным для советского человека.

Рядовые советские труженики подвергаются в романах осмеянию с позиций буржуазно-интеллигентского высокомерия и “наплевизма”.

Авторы позволяют себе вкладывать в уста всяких проходимцев и обывателей пошлые замечания в духе издевки и зубоскальства по отношению к историческому материализму, к учителям марксизма, известным советским деятелям, советским учреждениям.

Все это вместе взятое не позволяет назвать эту книгу Ильфа и Петрова иначе как книгой пасквилянтской и клеветнической. Переиздание этой книги может вызвать только возмущение со стороны советских читателей…»

Нет, не спустил Ильфу вождь мирового пролетариата и отец всех народов так называемой естественной кончины в 1937 году. Оказывается, смерть, даже ранняя, бывает своевременной. Что бы сделали с Ильфом и Петровым, доживи они до своего послевоенного переиздания?!

Уж крылья-то точно бы отобрали.

Михаил Холмогоров Юрий Олеша: «Я выглядываю из вечности…»

Вообще-то нехорошо задвигать добрые замыслы в долгий ящик. Они имеют свойство остывать. Я давно порывался написать о Юрии Олеше. И даже фраза, брошенная им невзначай и подобранная мною из воспоминаний Льва Никулина много лет назад, легла в заголовок. А дальше не шло. Так бы и застыло это благое намерение и окаменело, вымостив еще полметра по дороге в ад, если бы не один ночной кошмар. Мне приснилось, что Юрий Карлович упрекает меня в лени. «Так и останешься в обрывках и черновиках неосуществленных замыслов». Однако ж его собственный талант в полную силу развернулся не столько в завершенных вещах, которые полностью уместились в один том, сколько именно в этих обрывках, тщательно собранных в посмертные издания «Ни дня без строчки» и «Книги прощания». Они подтвердили многие догадки о характере писателя, основанные скорее не на текстах, а на легендах вокруг его имени.

Догадки весьма существенные. Об Олеше сложилось мнение как об одном из основоположников советской литературы, весьма лояльном к государству, но после кризиса, пережитого в начале тридцатых годов, в общем-то, аполитичному. Друзья-мемуаристы и авторы лукавых предисловий из лучших побуждений (чтобы легче прошло сквозь цензуру) весьма постарались для закрепления этой истины в мозгах читателей. О нет, этот «князь “Националя”» обладал весьма трезвым взглядом на происходящее и в ворохе бумаг таил такую, к примеру, запись:

«Знаете ли вы, что такое террор? Это гораздо интереснее, чем украинская ночь. Террор – это огромный нос, который смотрит на вас из-за угла. Потом этот нос висит в воздухе, освещенный прожекторами, а бывает также, что этот нос называется Днем поэзии. Иногда, правда, его называют Константин Федин, что оспаривается другими, именующими этот нос Яковом Даниловичем или Алексеем Сурковым.

Это прелестная фантазия, которую я должен хранить в сейфе Филиппа Гоппа, моего друга, шедшего по траве, в которой ползали некоторые исключения».

Пока эта прелестная фантазия хранилась в сейфе, сменилось много поколений, и мало кто помнит сейчас, как в праздники над Москвой в перекрещении прожекторных лучей нависал нос «вождя всего прогрессивного человечества».

Писатель Олеша – явление удивительное, возможное только у

нас и только в то, уже далекое время. Блистательное начало с романом, сказкой, пьесами, горстью рассказов, которые, правда, писались все реже и реже и, признаться, слабее. Широко объявлен новый роман и новая пьеса – но их все нет и нет. И десятилетия, казалось бы, полного молчания, из которого по всей литературной Москве искрами пробегают остроты, меткие характеристики, походя брошенные Юрием Карловичем.

Были, правда, отрывочки в том самом Втором (и последнем) выпуске «Литературной Москвы» – жертве ранних заморозков хрущевской Оттепели. И новые в «Избранном» 1956 года. Это «Избранное» смели с прилавков в момент. Казалось, писатель воспрянул духом, вот-вот издаст что-то такое… От Олеши ожидали как раз невыразимого одним словом, вот именно «чего-то такого». Но жизнь коротка – 10 мая 1960 года писателя не стало.

После смерти Олешу стали подзабывать, пять лет уже прошло, и вдруг – «Ни дня без строчки». И писатель, похороненный знатоками, воскрес. Но упрямые знатоки не унялись. Аркадий Белинков торжественно объявил гражданские похороны писателя, выпустив на Западе книгу «Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша». Другой знаток заявил о распаде личности пьющего писателя. Да что же это за гибель, что за распад, если через сорок и пятьдесят лет после смерти писателя, уже в другие эпохи, его имя тревожит, взывает к размышлениям и одаривает то глубочайшей печалью, живым чувством сострадания, то восторгом перед роскошной фразой? Но аргументы знатоков кажутся убедительными, они как бы лежат посмертной тенью под внушительной фигурой писателя. Нет, словами тут не отделаешься – «высплюсь, чем свет перечту и пойму».

Перечитываю. Восхищаюсь «Завистью», рассказами «Лиомпа», «Цепь», «Любовь». Посдержаннее принимаю романтических «Трех толстяков». Еще сдержаннее – подпорченную все примиряющей концовкой «Вишневую косточку» и несколько других. Ошеломленный успехом «Зависти», писатель невольно тянется к самоповтору. «Стадион в Одессе», «Комсорг» просто разочаровывают. Так мог бы написать какой-нибудь Павленко или Горбатов – будто не тонким пером, а малярной кистью писано. За все сороковые написано три-четыре рассказа – «Туркмен», вымученная «Иволга», худосочный рассказец к пушкинскому юбилею «Друзья». И все. Жизнь через одиннадцать лет кончится – ни одного цельного, завершенного произведения. Отрицательный опыт – тоже опыт, но впечатление такое, что опыта отрицательного Юрий Карлович накопил неизмеримо больше

положительного. И вроде как правы его могильщики – гибель, распад…

А что тут удивительного? Вся страна на протяжении XX века только и делала, что копила отрицательный опыт.

Итак, перед нами интеллигент, окончивший с золотой медалью Ришельевскую гимназию в Одессе, поступивший в университет и обдумывающий подробности будущего житья присяжного поверенного и поэта. Но этого житья, к которому он по инерции десятилетий приготовился, ему не дадут. Будущий присяжный поверенный раздосадован, будущий поэт – в слепом восторге: ему не хотелось быть, как все, не хотелось взбираться по крутой лестнице карьерного успеха, о чем он на излете очарования напишет рассказ «Человеческий материал». Поэт раскрыл объятья призраку коммунизма, семьдесят лет бродившему без толку по Европе, вытолканному взашей из Парижа и забредшему наконец в страну, которую, как высказался однажды Отто фон Бисмарк, не жалко. Образ художественный у тех же Маркса с Энгельсом точнее политических теорий. Раскрытые объятья пусты – призрак ведь, а новая жизнь, пообещавшая молочные реки и кисельные берега, а к ним еще и нового человека сотворить, уже заявляет, что интеллигент зря раскрывал объятья: он ей попросту не нужен. А может быть, и вреден. Это угрожающее «может быть» сопровождает его всю жизнь и обрекает на вечный страх.

Страх – чувство позорное, недостойное порядочного человека, во все века моралисты осуждали его и правильно, наверное, делали. Век девятнадцатый, «золотой», уже после Пушкина выдвинул постулат, на мой взгляд, сомнительный: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Век Серебряный истекал клюквенным соком, не догадываясь поначалу, что это вовсе не бутафорская краска, а реальная человеческая кровь, и прольется оный сок из тела Николая Гумилева, Владимира Маяковского, Вильгельма Зоргенфрея, Осипа Мандельштама. И сам собою встал вопрос покруче гражданского: обязан ли поэт быть героем? Собственно, знатоки и судили Юрия Олешу не как писателя, а как героя и постановили: обязан. А раз не герой – вот тебе: сдача и гибель, а книга твоя – книга распада.

А все же не дело писателя геройствовать. Его дело – слово. Вот к слову Юрия Олеши и обратимся.

Воспоминания Юрия Олеши о том, как выступал на вечере поэзии в Одессе Максимилиан Волошин, несколько насмешливы. В 1920 году Олеша был молод и к старым символистам относился с долей юношеского революционерского превосходства: в ту пору

советская власть развернула перед ним полный список благодеяний, а преступления по легкомыслию принимались как неизбежные нравственные издержки в процессе борьбы за утверждение провозглашенных благодеяний, и их список еще не набрасывался. Он все ждал, когда новый строй породит нового человека – умного, красивого и до гениальности талантливого. Не дождался. В 1931 году записывает:

«К тридцати годам, в пору цветения молодости, я, как это бывает со всеми, окончательно установил для себя те взгляды на людей и жизнь, которые считал наиболее верными и естественными. Выводы, сделанные мною, могли равно принадлежать как гимназисту, так и философу. О человеческой подлости, эгоизме, мелочности, силе похоти, тщеславия и страха.

Я увидел, что революция совершенно не изменила людей…

Мир воображаемый и мир реальный. Смотря как воображать мир. Мир коммунистического воображения и человек, гибнущий за этот мир. И мир воображаемый – индивидуалистическое искусство».

И дальше:

«Литература закончилась в 1931 году.

Я пристрастился к алкоголю».

К тем же временам относится запись, начинающаяся со слов «Я не хочу быть писателем» и завершающаяся мыслью о пуле в лоб.

Мысли Максимилиана Волошина в те же дни:

«7/VII 1931 г.

Вчера за работой вспомнил уговоры Маруси: «Давай повесимся». И невольно почувствовал всю правоту этого стремления. Претит только обстановка – декорум самоубийства. Смерть, исчезновение – не страшны. Но как это будет принято оставшимися и друзьями – эта мысль очень неприятна. Неприятны и прецеденты (Маяковский, Есенин). Лучше «расстреляться» по примеру Гумилева. Это так просто: написать несколько стихотворений о текущем. О России по существу. Они быстро распространятся в рукописях. Все-таки это лучше, чем банальное «последнее письмо» с обращением к правительству или друзьям. И писать обо мне при этих условиях не будут. Разве через 25 лет?..»

Больше, чем различие в выборе средств пассивного самоубийства, поражает сходство в отчаянии. А ведь время-то еще, по хлесткому слову Анны Ахматовой, вегетарианское, и у живого пока Мейерхольда ставится спектакль по пьесе «Список благодеяний». Интересная пьеса. Список преступлений, в первозданном виде до нас не дошедший, звучит убедительней

лозунгового списка благодеяний, зачитанного парижскими безработными на демонстрации. Гибель на этой демонстрации артистки Гончаровой избавляет ее от репрессий на родине. Ведь она уже осуждена, и осуждена, как водится, пресловутой тройкой. Неслучайно советских представителей в Париже именно трое, а цена их уговора – в Москве разберутся – и автору, и зрителям известна.

Собственно, в этом самом 1931 году и начинается дневник. Авторская ошибка в датировке (30 января 1930-го) – скорее всего, чисто автоматическая: в январе рука еще не привыкла к новому году. И уже в шестой строке все становится на свои места: «Зимой 1931 он (Мейерхольд) стал над ней (постановкой «Списка благодеяний») работать».

Жизнь раздвоилась. Можно сколько угодно говорить о гибели писателя, но пока из-под его пера выходит хоть строчка, он жив. А если в строчке хоть капля поэзии – он бессмертен. И строчки его рано или поздно явят миру его торжество. На поверхности социалистической действительности был кающийся интеллигент наподобие кролика, уверяющего удава в своей лояльности и готового, если получится, отказаться от кроличьей своей сути – длинных чутких ушей, врожденного вегетарианства – чего угодно. В этой маске он предстал на Первом Всесоюзном съезде писателей.

В ту пору многие интеллигенты надели маски, тайно заботясь о том, чтобы не прирастали к лицу. Пастернак прикинулся небожителем, абсолютно не ведающим, что творится за окном, а зоркий глаз тонко улавливал мир материальный, о чем этот мир с изумлением узнает десятилетия спустя. Пришвин обратился разве что не в лешего, и только потаенные записные книжки раскрывают подлинный мир этого мудрого, как змий, художника.

Маска кролика могла спасти от репрессий, но не спасала от содействия преступлениям власти – подписей под письмами трудящихся пера с расстрельными требованиями, а то и написания статей по случаю чьего-нибудь погрома. Здесь маска алкоголика, человека несерьезного и пустого болтуна, казалась надежнее. Но цена оказалась дорога: пока заботился о дистанции от маски кролика, маска алкоголика приросла к лицу.

Русскую литературу со времен Ломоносова пьющим писателем не удивишь. Публичные рассуждения об алкоголизме крупного литератора отдают подвигом Хама, это дело черни, сующей нос в дневники, чтобы увидеть гения в унижении. Пушкин ответил любопытствующим: врете, мал и мерзок, но не как вы, иначе. Писатель оставляет духовное наследие – его прижизненное пьянство, прелюбодейство, азартная игра, если сам

он об этом не написал, умирают в тот день, когда умерло его тело. И не будем об этом. Но случай с Юрием Олешей – другой. Это был сознательный уход из «активной», т. е. поверхностной, литературной жизни. От него через Николая Глазкова с его знаменитым «Я на мир взираю из-под столика» пошла традиция, нашедшая абсолютное воплощение в жизни и творчестве (тут они неразделимы) Венедикта Ерофеева. Можно не разделять этой саморазрушительной идеологии, но приходится признать ее фактом русской литературы эпохи социализма.

Кстати, вполне вероятно, маска алкоголика и спасла Юрия Олешу от физического истребления: НКВД выбивало показания против него и накопило солидное досье. Сжалились над ним отнюдь не по доброте. Сталинский режим, неоднократно пускавшийся в кампании борьбы с пьянством, на деле к этому пороку был весьма снисходителен: правящей черни приятно видеть великого человека на дне самого передового общества.

Была еще одна выгода от такой маски. В пору тотальной диктатуры мало увернуться от политики кнута: надо еще устоять от соблазна и уклониться от политики пряника, не менее преступной и коварной: она развращала. Она губила талант на корню. Рука выписывает гимны, а душа, так обнадежившая в дебюте хотя бы такой на зависть всем обэриутам строчкой: «А у нас сегодня кошка родила вчера котят», – мертва. И еще большой вопрос, под какой маской состоялся распад личности: пьяницы или трезвого гимнопевца?

Итак, двадцатилетний Юрий Олеша распростер объятья призраку. И ценой очень дорогой: он расстался с родителями, эмигрировавшими в Польшу. «Мне было двадцать два года, я плакал, я был молодой, без денег, без профессии, – я остался один, совершенно один в стране, проклятой моим отцом». Лишь десятилетие спустя он поймет, что перед ним в тот день захлопнулась мышеловка: «В день двенадцатилетия революции я задаю себе вопрос о себе самом. Я спрашиваю себя: ну, русский интеллигент, кем ты стал? Что стало с тобой?

Мне тридцать лет. Когда произошла революция, мне было восемнадцать. Тот аттестат зрелости, который получил я, еще был припечатан орлами. В последний раз выдавались такие аттестаты. В последний раз заказывали студенческие фуражки. Никто еще не знал, что раз этот – последний». Через несколько дней: «Теперь, когда прошло двенадцать лет революции, я задаю себе вопрос: кто я? кем я стал?

Я русский интеллигент. В России изобретена эта кличка. В мире есть врачи, инженеры, писатели, политические деятели. У нас есть специальность – интеллигент. Это тот, кто сомневается,

страдает, раздваивается, берет на себя вину, раскаивается и знает в точности, что такое совесть, подвиг и т. п.

Моя мечта – перестать быть интеллигентом».

Но это мысли из эпохи обещанного «светлого будущего», а тогда, в двадцатом, многие интеллигенты, принявшие революцию, бредили мечтами о новом человеке. В Политехническом читались лекции о синтезе плоти и духа как основном качестве социалистической личности, о единении города и деревни в культуре сияющего завтра и проч. Даже Гражданская война мало чему научила: ее изуверства, неизбежные в любой войне, прощались ради этого самого сияющего завтра. Ожидали, что вот порабощенный народ скинул своих угнетателей, и теперь из каждой рыбацкой хижины выскочит новый Ломоносов. Но победа сил, которым сочувствуешь, не гарантирует осуществления благих намерений, заявленных в их очаровывающих лозунгах.

Время шло. Ломоносовы что-то не выскакивали.

Вместо Ломоносова явился Бабичев. И провозгласил культ колбасы.

Самое название романа Олеши «Зависть» представляется мне не сутью произведения, а опять-таки маской писателя и его героя. Сомнение в громко заявленном чувстве вызывает уже первая фраза: «Он поет по утрам в клозете». Как можно завидовать человеку, вызывающему отвращение физиологическое? Об этой блистательной фразе много говорили. Ее, как и «цыганскую девочку величиною с веник», вспоминают всегда, едва речь заходит о писателе. Но из этой фразы можно извлечь урок отрицательного опыта. Она убивает все последующие. Собственно, ею обрисованы с одинаковой глубиной и точностью и Бабичев, и его созерцатель Кавалеров, да и сам автор, в конце концов. Задан тот исключительно верный тон, в котором сразу раскрылись характеры. Но за первой фразой надо писать вторую. А если ей недостает энергии или такта отойти на цыпочках, получается болтовня. В повествовательном развитии утро Бабичева и Кавалерова вянет. Но это частности, касающиеся школы письма. Они скажутся потом, когда вся литературная жизнь уйдет в мучительные черновики. Читатель же промахивает начало, не вникая в такие тонкости. Он вслед за автором вглядывается в характер вроде как нового человека, активного строителя всеобщего счастья на фабрике-кухне по имени «Четвертак» и что-то мало обнаруживает в нем симпатичных качеств. Да, необычайно энергичен, фанатично предан делу… Но вот сцена праздника, когда Кавалеров приотстал, а Бабичев перестал его замечать. И вырастает фигура нового хозяина жизни,

мало чем отличающегося от старого, – преуспевшего чиновника, озабоченного проблемами всего человечества и не видящего конкретного человека. Много лет спустя, рассуждая о Достоевском, Олеша скажет: «Я этого “великого” писателя не люблю. Никто, как он, не навязывает читателю своего характера. Я не вижу унижения там, где он его видит. А он хочет, чтобы я разделял с ним его взгляд на унижение. Он предлагает мне оттенки, а мне даже основной фон не понятен, чужд, не важен». Но сцена праздника на аэродроме вся пронизана опытом внимательного чтения Достоевского, унижение и катастрофический скандал – как раз в духе нелюбимого классика.

Сегодня мы видим Бабичева иными глазами, чем первочитатели. Мы дожили до эпилога. Но вот интересно, заметил ли кто-нибудь тогда, в 1927 году, то, что изумило меня, когда я взялся перечитывать «Зависть»?

«В служебных записках он часто прибегает к скобкам, подчеркиваниям, – боится, что не поймут и напутают.

Вот образцы его записок:

“Товарищу Прокудину.

Обертки конфет (12 образцов) сделайте соответственно покупателю (шоколад, начинка), но по-новому. Но не «Роза Люксембург» (узнал, что такое имеется – пастила!!), – лучше всего что-нибудь от науки (поэтическое – география? астрономия?) с названием серьезным и по звуку заманчивым: «Эскимос»? «Телескоп»? Сообщите по телефону завтра, в среду, между часом и двумя, мне в правление. Обязательно”.

“Товарищу Фоминскому.

Прикажите, чтоб в каждую тарелку первого (и 50– и 75-*копеечного обеда*) клали кусок мяса (аккуратно отрезанный, *как у частника*). Настойчиво следите за этим. Правда ли, что: 1) пивную закуску подают без подносов? 2) горох мелкий и плохо вымоченный?”».

Темперамент и назойливая въедливость записок как-то не вяжутся с массивной фигурой Бабичева. Тут, скорее, очерчивается подвижный маленький человечек с быстрыми и юркими мыслями. Где-то мы видели и эти скобки, и быструю небрежность фразы с моментальными вопросами. Ну-ка, ну-ка… В библиотеке на вечно открытом доступе беру замызганный синий том:

«Тов. Н.П.Горбунов!

Прошу Вас переслать это мое письмо в комиссию тов. *Киселева* и следить за этим делом.

В комиссию тов. *Киселева*

По поводу записки А.П.Смирнова. Я решительно против *всякой* траты картофеля на спирт. Спирт можно (и это доказано) и

должно делать из *т о р ф а* . Надо это производство спирта из торфа развить».

Едва ли столь удачная пародия на Ленина была предусмотрена замыслом. Скорее всего, Ильич заразил своей стилистикой всех, кто, как Бабичев, стилистикой собственной не обладал и хватал из атмосферы ту, которая разлилась по стране.

«Зависть» произвела фурор. Олеша высказал мысли, точнее – ощущения того тонкого слоя интеллигенции, которым отвесили снисходительное клеймо: «попутчики». И обозначили место на социальном шестке: не свои, и полного доверия не ждите.

Произведения умнее своих авторов. В «Зависти» Олеша все сказал, все, казалось бы, понял. Но в жизни реальной он еще жил какими-то иллюзиями, жаждал от нового строя доверия к себе. В рассказах стал невольно эксплуатировать успех романа, сталкивая юность и старость и слегка заигрывая с юностью. Возникла позиция невольного унижения. Долго в ней находиться нельзя. Все-таки писательство в своем первом порыве задается самолюбием, тщеславием, а постоянное унижение, пусть и паче гордости, неизбежно влечет за собой кризис.

Он и разразился.

На сюжете «Нищий» Олеша споткнулся. Ни повести, ни пьесы так и не закончил, захлебнувшись в черновиках.

Отчаянная мысль – «Не хочу быть писателем» возникает в разных вариациях из года в год. Но там, где дают дар, не спрашивают твоей воли. Раз призван писать – пиши. И не оглядывайся на табель о жанрах.

И лишь к концу жизни писатель стал догадываться, что нечаянно нашел выход из кризиса. Читатели узнали об этом через пять лет после его смерти.

«Ни дня без строчки» с главою «Золотая полка» долгие годы возглавляла «золотые полки» книжных шкафов русской интеллигенции. Удивительно своевременно вышла эта книга. В умах, подогретых Оттепелью, еще царил романтизм искренности. Мы не знали своего ближайшего будущего. И если дальше так пойдет, грезилось тогда… А дальше – известно что. И смолкли разговоры об искренности. И никто уж не осмеливался вслух нести чушь прекрасную. Она осталась в черепных коробках, отложилась до лучших времен, обрастая мудростью. Извне отовсюду, смешанная со страхом, наползала ложь. Вольно или невольно просачивалась внутрь. И в избранных книгах мы находили спасение души.

Секрет этой книги раскрыл, того не ведая, артист Борис Ливанов в воспоминаниях, написанных еще до ее выхода. «Он любил ходить в кафе «Националь». Все это знали. За его столиком

сходились самые разные люди. И все эти люди становились талантливее, соприкасаясь с Олешей». Так вот, «Ни дня без строчки» обладает удивительным эффектом присутствия. Читая, ощущаешь рядом автора, лезешь из кожи вон, чтобы не осрамиться, и поневоле становишься талантливее. В силу возраста не привелось ни сиживать с Олешей в «Национале», ни слышать его голоса… Но когда вышла пластинка с записью выступления автора «Трех толстяков» по радио, я узнал его. Эти едкие, проницательные интонации, изящные рождения метафор из секундной паузы («мы не идем по жизни, а как бы летим над ней, причем чаще всего, разбивая лбы о золотые столбы коньячных бутылок»). Эта книга, поднимая читателя над обыденностью, включая его в игру вечного поиска точного слова и делая хоть чуть-чуть талантливее хотя бы в минуту общения с ней, слегка льстит его самолюбию. И в ней всегда будет нужда.

А ведь там, под переплетом, выкрашенным в серое вещество мозга с кровавыми вспышками, никаких сюжетов, ни слова о любви, сравнительно немного исторических персонажей, воспоминания обрывочны, не то что у Эренбурга или Паустовского. А оторваться нельзя.

Меньше всего думая об исповеди перед читателем (мысль собрать все эти обрывки, наброски в книгу пришла автору довольно поздно, и он успел лишь наметить ее профиль), Олеша раскрылся весь с искренностью беспредельной. И перед нами предстала душа глубоко страдающего русского писателя жесточайшего из веков – двадцатого.

Художественный сюжет о нищем, не реализованный ни в прозе, ни в драматургии, воплотился в реальной судьбе конкретного человека по имени Юрий Карлович Олеша, в чем он сам признается себе, записывая с беспощадной правдой свой визит за деньгами к больному кассиру или выпрашивание милостыни у сытого и самодовольного режиссера.

До «малости и мерзости» Олеши обыкновенному человеку из толпы расти и расти, и еще вопрос, дорастет ли. При всей малости перед глазами читателя разворачивается громадная личность. Слабый во внешнем мире, Олеша отважен в признаниях самому себе. А в правде, как известно, сила. Находясь на пике своего успеха, констатирует: «Наше поколение (тридцатилетних интеллигентов) – необразованное поколение. Гораздо умней, культурней, значительней нас были Белый, Мережковский, Вячеслав Иванов… А наша культурность – это “Викторина”. Мы возвращаемся с прогулки и говорим женам за вечерним чаем: А знаешь, Сервантес был каторжником на галерах. – И жены нас уважают…».

Даже тот факт, что он стал автором Художественного театра, Олеша, обладавший непомерным тщеславием, объяснял себе не столько своими заслугами, сколько падением эстетических критериев – естественным следствием отмены частной собственности, а отсюда – исчезновением понятия столичности как концентрации духовных ценностей нации. «И потому добиться того, чтобы жить в столице, еще не значит добиться диктаторства над провинцией, – страна делается. Ее еще нет. Еще нет общества, жира, плоти, есть только план, есть только мысль. Мысль отвердевает, становится плотью, и глядишь – она не объемлет Московского Художественного театра. Поэтому я, ставши автором его ныне, – чувствую себя как-то скошенным, двухмерным, некое измерение уже неприменимо к этому театру – и поэтому – я не ощущаю радости и торжества оттого, что пьеса моя идет в театре, где шли пьесы Чехова, том театре, где играет – вы слышите? – Качалов!»

Как-то не похожи эти трезвые рассуждения 1931 года на речи кающегося перед советской властью интеллигента.

Видимо, этот год, обильный в дневниковых записях и скудный в открытой печати, оказался переломным в жизни Юрия Олеши. Он осознал истоки своего кризиса. В декабре написал большое эссе «Кое-что из секретных записей попутчика Занда», в котором рассказал, что происходит с писателем, зачисленным в столь двусмысленную категорию. И какое средство для излечения ему предлагают: «Вам нужно слиться с массой!». В том же номере журнала «30 дней», где печатались эти «Записи», Олеша получил и отповедь от официального рапповского критика. Ответ на отповедь был довольно жалкий: попутчик Занд спрятался за могучую спину гудковского фельетониста Зубило. Критикам отвечала маска кролика. Перед собою писатель честен. Он уже знает, что никогда не сольется с массами. Вкус не позволит. «Происходит странная вещь, – записывает он, – массы консервативны в своих художественных вкусах. Казалось бы, массы должны тяготеть к так называемому левому искусству, – в действительности требования их простираются не дальше “передвижничества”… А между тем в “передвижническом искусстве” таится яд застывания, успокоенности, оппортунизма».

Прекрасное качество – хороший вкус. Да только есть оборотная сторона – деспотия вкуса. Она страшнее цензуры. Цензуру можно обмануть и находить в этом стимул к творчеству. Хороший вкус не обманешь. Он душит фразу в зародыше. Стыд за фальшивую ноту пусть даже в проходной фразе жжет острее, чем презрение сытого, преуспевающего режиссера, у которого ты клянчишь на полтораста грамм в ближайшем шалмане. В конце

концов, есть робкая надежда, что когда-нибудь разбогатеешь и расплатишься по всем долгам. Не оправдается эта надежда – со смертью участников унизительной сцены все забудется. Но записанная твоей рукой фраза не забудется никогда, она будет ловить твое имя вечно и вечно спрашивать с тебя со всей строгостью. Слово писателя уже есть дело, утверждал Пушкин. Оказывается, эта формула страшна. Она не только отвечает на упрек, она содержит непосильную ответственность. А посему смею утверждать, что эстетический вкус писателя – эквивалент его совести. Любое отступление порождает фальшивую ноту, то есть – ложь.

Этим, и ничем иным, объясняются жесточайшие самооценки, тысячи страниц с номером 1, которым так и не суждено скрепиться со страницей № 2. Ведь это – ежедневная мука самоистязания над пропастью белого листа, это тысячи тонн словесной руды, в приступе гнева выброшенных в корзину… А потом с робостью и стыдом достаешь, расправляешь, видишь тень мысли (нет, что-то там было) и складываешь в архив, который растет быстрее библиотеки. А награда? Ну вот, к примеру, все та же пресловутая «вечерняя заря», блистающая не простотой для наивного читателя, а умом: «Всю жизнь взгляд устремлялся в закат. Трудно представить себе что-нибудь более притягательное для взгляда, чем именно эта стена великого пожара. Греки видели как раз пожар, в котором гибнет Фаэтон. По всей вероятности, закат принадлежит к тем проявлениям мира, которые могут быть сравнены с чем угодно. Там громоздится город, растут башни, прокладываются длинные дороги. Иногда это Библия, видение Иезекииля с гигантской гитарой лучей, иногда птица-лира, иногда тихий воздушный флот, удаляющийся с приветом от нас в страну друзей, которые нас оставили».

И не надо никакого сюжета – перед нами вполне законченное произведение: стихотворение в прозе. Его интрига – мысль автора, извлеченная из ежевечерне повторяющегося и каждый вечер неповторимого события. И захватывает дух, когда следишь за ее развитием в ритме мальчишеского катания по наледи в ясный морозный день: разбег – толчок от Иезекииля – и головокружительное скольжение. Таким – едва ли самим автором осознанным – образом построены все лучшие записи Олеши: ритм воплощает собой манеру мышления. Метафора редко приходит сразу, ей нужен разбег, точнее, бегство от скучной повседневности.

Награда еще и право сказать о себе: «Все суждения, которые я слышу из уст любителей живописи, кажутся для меня всегда новыми, я перед ними мал, смотрю снизу вверх. Это всегда для

меня новое, которое нужно знать, – я всегда в школе, когда я разговариваю со знатоками о живописи. Ничего подобного я не испытываю, когда я разговариваю о литературе или читаю о ней. Пусть даже это будет мнение великих писателей – Льва Толстого, Пушкина и т. д. Тут для меня нового нет, я это все знаю и сам – тут я не в школе, а если и в школе – то среди учителей».

Уже говорилось о нелюбви Олеши к Достоевскому. Но и в чтении Достоевского он был на редкость объективен и проницателен.

«Однажды мне попала в руки книга Шеллера-Михайлова, какой-то роман… Бойко написано – но ни следа очарования, магии. Свадьбы, векселя, интриги, вдовьи слезы, прожигающие жизнь сынки… И вдруг, перейдя к одной из очередных страниц, я почувствовал, как строчки тают перед моими глазами, как исчезает комната – и я вижу только то, что изображает автор. Я почти сам сижу на скамейке, под дождем и падающими листьями, как сидит тот, о ком говорит автор, и сам вижу, как идет ко мне грустная-грустная женщина, как видит ее тот, сидящий у автора на скамейке…

Книжка Шеллера-Михайлова была по ошибке сброшюрована с несколькими страницами того же, «нивского» издания собрания сочинений Достоевского. Страницы были из «Идиота».

Я не знал, что читаю другого автора. Но я почти закричал:

– Что это? Боже мой, кто это пишет? Шеллер-Михайлов? Нет! Кто же?

И тут взгляд мой упал на вздрогнувшее в строчке имя Настасьи Филипповны… И вот еще раз, в другом месте! Кажущееся лиловым имя, от которого то тут то там вздрагивали строчки!

Колоссальна разница между рядовым и великим писателем!»

Какая досада берет, что не дано Достоевскому прочитать про лиловое имя Настасьи Филипповны, вздрогнувшее в строке. Вот бы кто оценил!

«Книга прощания» Юрия Олеши принадлежит числу тех, которые дочитываешь с ожиданием ужаса – за последней страницей смерть героя. Не вымышленного – жившего в нашу эпоху сравнительно недавно. С особым пристрастием вчитываешься в ее финальную запись:

«Вероятно, кончается и эпоха этих записей. В жизни моей, по существу говоря, было удивительное обстоятельство только то, что я жил. Каждый день я жил, каждую минуту я жил. Нельзя говорить, что я достиг чего-то или не достиг, это ерунда – главное, что я каждую минуту жил.

Я шел по аллее городского сада в Ашхабаде и вдруг увидел:

недалеко от стены деревьев лежат выкатившиеся на аллею большие зеленые шары, похожие на шутовски выкрашенные теннисные шары. Я нагнулся и поднял один. Довольно тяжелая штука… Как будто похоже на плод каштана. Нет, это не плод каштана. Вскрыть. – Нет, я не стал вскрывать.

Нет ничего – ни дружбы, ни любви… Есть только возможность поднять с земли в тени огромного дерева зеленый шар, который я увидел впервые в жизни.
Кто ты, зеленый шар?»

Михаил Холмогоров Юрий Казаков: «Это же смертное дело»

Самый тяжелый, неподъемный рабочий инструмент – невесомое и тонкое перо лирического писателя. Одно лишь приближение к нему требует редкостного сочетания профессиональных качеств – это и абсолютный поэтический слух, и обостренное чувство юмора, и тончайшая нервная организация, чрезвычайно чуткая к тихому звуку истины, заглушенному беспорядочными шумами времени, и отменнейшее при этом психическое здоровье, чтобы не струсить, поддавшись соблазнам или отчаянию, чтоб не сойти с ума. А общественное мнение как-то не торопится с признанием лирического писателя, намеренно аполитичного, демонстративно индивидуального.

Лирический писатель Юрий Казаков был великий писатель. А мы, конечно, догадываясь об этом еще при нем, только сейчас начинаем понимать, какое богатство он после себя оставил. Его жизненный путь завершился накануне головокружительных перемен, и теперь мы живем в другой стране, по другим законам, и иногда даже кажется, что и люди вокруг совсем не те. Звучат иные голоса, поются иные песни. А наши души всё тянутся к негромкой, но тяжелой на ощупь подлинности. И первым вспоминается Юрий Казаков.

Почему?

Биография Юрия Казакова скудна внешними событиями и заурядна, да, впрочем, он и сам больше ценил биографию внутреннюю, а не внешнюю. В неполные шесть лет Юрий был насильно разлучен с отцом Павлом Гавриловичем, арестованным в 1933 году: отец присутствовал при рассказе очевидца о зверствах коллективизации на Тамбовщине, о сопротивлении крестьян и не донес. Последняя встреча перед этапом описана в рассказе «Во сне ты горько плакал» – единственном, где писатель упомянул о драматических обстоятельствах своего детства. Мама Казакова Устинья Андреевна работала медсестрой, а в 1942 году стала инвалидом, так что детство и отрочество будущего писателя прошли в отчаянной нищете; однако состояние это было не столь редким, особенно в послевоенные годы. Ранние беды выработали в нем особую нежность к матери и необыкновенно стойкое чувство долга.

Москва такой город, что здесь важно для всей последующей жизни конкретное место рождения, детских лет и свежей глазастой юности. А Юрий Казаков родился в самом центре

Москвы, и не просто в центре, а на Арбате, и две трети его земного существования прошли в доме, где расположен «Зоомагазин». Культура входит в нас неслышными шагами, только вдруг настает момент, и ты осознаешь, что, не будь декора «московского модерна» на фасаде «Зоомагазина», не замечаемого в повседневной жизни, в беготне то в булочную, то в керосинную лавку, что в Спасопесковском, не будь «московского дворика» в том же Спасопесковском, была бы другая душа, а соответственно – и другая судьба.

В арбатских дворах играли потомки славных дворянских родов, дети и внуки профессоров, адвокатов, докторов – бывших съемщиков лучших квартир, путем уплотнений загнанных в самые тесные комнатенки, поумневшие от горя дети «комиссаров в пыльных шлемах», уже хлебнувшие лиха за родительские грехи и жаждущие понять, что произошло, почему, кто виноват… Как раз напротив «Зоомагазина» во дворе дома, где шашлычная, настраивает гитару на новые песни комиссарский сын Булат Окуджава. «О чем ты успел передумать…»

А еще у Арбата была музыка. Она звучала из окон пожилых глуховатых людей, включавших на полную мощность старенький «Рекорд» или «СИ-235», когда исполняли Чайковского, Шопена. В одном доме с Казаковым жили Святослав Рихтер и Нина Дорлиак, и летом через открытые окна он слушал, бросив все дела, потрясающие концерты, не ведая меры своего везения. А чуть в стороне, на улице Вахтангова, собирал знатоков и любителей под окна музея А.Н.Скрябина Владимир Софроницкий. А дальше, в глубине арбатских переулков, наполнялся пассажами Рамо и Филда треугольный сквер Собачьей площадки, куда водили за руку детишек с громадными черными нотными папками, оборонявшими, как щитами, от дурного влияния улицы. Вечером же в арбатский воздух врывался полузапретный джаз, пробиваясь через немыслимые межгосударственные помехи.

Обнищавшие потомки обнищавших или затерянных по лагерям «буржуазных спецов» тихо, но упорно отстаивали свою интеллигентность, одолевая премудрости старых книг или нотной грамоты. Один из таких мальчиков заразил будущего писателя неуемной страстью к музыке, и музыка стала его первой профессией. Он хотел выучиться игре на виолончели, но заниматься начал слишком поздно, в пятнадцать лет, и пальцы уже не могли овладеть в совершенстве сложной техникой инструмента, так что пришлось поступить в класс контрабаса.

Музыкантом Казаков, по свидетельству его учителя профессора В.В.Хоменко, был одаренным, но ни хлеба, ни удовлетворения эта профессия ему не принесла. Гнесинское

училище Ю.Казаков окончил в 1949 году, еще вовсю свирепствовал Сталин, а отец молодого контрабасиста в ту пору отбывал ссылку, и стоило при приеме на работу заполнить анкету, как лица кадровиков цепенели, потом скучнели, а язык мямлил: «Приходите на той неделе. Или лучше – позвоните». С музыкой не заладилось. Но страсть к гармонии, к чистой и тонкой красоте уже овладела им навсегда.

Жизнь в такой близости к искусству пробудила в молодом Казакове неимоверное тщеславие. Позже он признавался, что в те годы мечтал стать или дирижером, или писателем – все равно кем, лишь бы увидеть свое имя напечатанным на афише или переплете книги. Этой жаждой непременно дождаться вожделенного мига, когда где-нибудь крупными буквами будет напечатано «Юрий КАЗАКОВ», преисполнены юношеские дневники. В слове тоже открывается какая-то затягивающая сила, и выбор в конце концов окончательно останавливается на литературе, и по московским редакциям бродит высокий нескладный юноша с рукописями рассказов и пьес.

Отважившись на писательство, Юрий Казаков был решительно не готов к литературному труду. Его мысли, представления о писательстве, сохранившиеся в дневниках 1949–1953 годов, были поразительно наивны и незрелы. Сюжеты рассказов и пьес той поры удручают беспомощной фантазией и простодушной верою в то, что ждановская пропаганда льет в уши и глаза с газетных страниц и радиоэфира. Так что неудивительно, если вдуматься, содержание ученических опусов Казакова – о полисмене в неведомой автору Западной Германии, о несчастьях американского боксера-профессионала, пьеса о рабочем классе «Новый станок»…

Но что-то, видно, было в этих творениях, наивных и робких. В редакции «Советского спорта» – и куда только не заносило интеллигентнейших людей! – поэт Николай Тарасов заметил талантливого юношу, помог ему с первыми публикациями, не оставлял его добротой и заботами позже. Кстати, он же способствовал первым шагам в литературе Евгения Евтушенко. И в Литературный институт Юрия Казакова приняли, несмотря на бешеный конкурс, за те же сочинения. Приняли, но на первом семинаре раз и навсегда отучили писать о том, чего не знаешь.

В Литературном институте можно получить блестящее образование, а можно – никакого. Последнее даже негласно поощрялось, так как в идеологической политике была сделана ставка на самовлюбленную посредственность и невежество. Но там была среда. Окололитературная, собственно литературная – но настоящая, с бестолковыми и вдохновенными спорами до утра,

с ее безответственностью, бурной энергией лени и дилетантства.

Студенческое самочувствие Юрия Казакова было, видимо, сродни ломоносовскому в Славяно-греко-латинской академии: уже прошла пора фронтовиков, и он оказался значительно старше и необразованнее однокурсников. Казаков ринулся в чтение с отчаянием опоздавшего. У него был очень тонкий и умный педагог – критик, исследователь литературы Николай Иванович Замошкин. Шла глубокая подспудная работа, которую мало кто видел. А на взгляд со стороны произошло чудо.

В Литинституте Казаков стал писателем, мастером прозы сразу. Рассказ «На полустанке», написанный в классе по заданию как этюд, ошеломил всех. К концу второго курса он уже был институтской знаменитостью, его безоговорочно признали гением. Уже созданы многие вещи, которые будут включаться в его сборники и при жизни, и потом…

Но тут его ждал удар сокрушительный.

Все началось с маленькой книжки в бежевом картонном переплете с гравюрой, изображавшей лирический среднерусский пейзаж: «И.А.Бунин. Рассказы». Один из первых подарков Оттепели – скромный по составу сборник умершего недавно в эмиграции и насильно забытого писателя. Только эхом из уст старых людей доносится его имя. И, отозвавшись на эхо, Казаков купил книгу бунинских рассказов, стал читать…

Те, кто застал появление в 1958 году романа Э.М.Ремарка «Три товарища», публикацию в конце 1962-го «Одного дня Ивана Денисовича», а на переломе 1966–1967 годов – «Мастера и Маргариты», знают, что такое взрыв общественной атмосферы, как от одного литературного произведения прозревает все общество и уже не может мыслить по-старому, долго пребывая под впечатлением прочитанного.

Бунин – писатель интимный, он поражает не все общество, но лишь немногих, избранных. Зато настолько мощно и властно, что поначалу немеешь, завороженный, теряешь дар письменной речи… Та маленькая бежевая книжка показала студенту Литинститута, что такое подлинная литература, в таких тонкостях, о которых он только недавно стал догадываться, еще обижаясь на справедливую критику учителей и более просвещенных товарищей. Она показала цену писательскому имени, не подверженному даже насильственному забвению, и то, чем, каким титаническим трудом эта цена обеспечивается.

Высота критерия была очевидно недостижимой. А чужой стиль непосильно властным.

Почему же Казаков выдержал удар, устоял?

Видимо, удар пришелся очень своевременно. К исходу 1955

года Казаков уже стал писателем. И уже был успех, и успех вскруживал голову, еще немного, глядишь, и сам стал бы учить, застывши в позе местного гения… Но главное, он еще не потерял способности жадно учиться.

Была причина устойчивости к бунинскому удару и объективная, не зависящая от воли молодого писателя и, возможно, им самим не осознанная до конца. Есть, наверное, какой-то закон непрерывности литературного процесса. Всякое движение в литературе – будь то жанр или течение – может умереть только естественной смертью, то есть лишь тогда, когда выскажется до конца, до дна исчерпается. Так, после Г.Р.Державина умерла ода, после И.А.Крылова – басня, П.П.Ершов завершил стихотворную сказку. Но на полуслове ни жанр, ни традиция пресечься не могут, какие бы завалы на их пути ни выстраивала неистощимая фантазия музы Клио.

Литература, когда приходит в себя от ударов истории, возвращается назад, к оборвавшейся насильно традиции, к недоговоренному слову, к недопетой песне. Так, поэты конца пятидесятых – начала шестидесятых вернули поэзию в зал Политехнического, будто Маяковский только-только захлопнул за собой дверь и она дрожит еще на петлях, вибрируя его голосом.

Доля раннего Казакова была допеть песнь Бунина. В рассказах 1956–1958 годов молодой писатель интенсивно осваивает бунинскую речевую манеру, стилистику, но первым делом – настраивает зрение до ястребиной зоркости, чтобы ни единая, самая малая, едва приметная деталь в пейзаже, в характере не терялась, не упускалась из виду. Это свойство останется с Казаковым, разовьется в нем и станет верной приметой казаковского стиля, когда строй фразы окончательно освободится от бунинских интонаций. И навсегда останется в нем неутолимая страсть к совершенству, быть может – гибельная. Во всяком случае, именно с ней связаны все драмы внутренней биографии писателя, многие печали и редкие радости Юрия Казакова.

Собственные признания, а еще больше – злонамеренная критика все же преувеличили влияние Бунина на Казакова. Оно было достаточно сильным, но длилось не так уж и долго, а главное – Казаков, и подражая, не был эпигоном Бунина, скорее – талантливым учеником, старавшимся преодолеть силовое поле чужого письма. По счастью, у него уже тогда была своя география России – не Орловщина, даже не средняя полоса, а русский Север, открытый в давние годы Пришвиным и надолго оставленный отечественной литературой. А там другие краски, другие запахи и звуки, да и характеры другие: русские провинции не одним лишь

говором различаются. Поморка или Манька с их потомственным молчаливым героизмом как-то мало представимы на страницах бунинской прозы, хотя рассказы о них созданы как раз в пору увлечения великим новеллистом. И наконец, время. В России XX век добрался до самых глухих углов, переворошил и быт, и бытие патриархальнейших сел, откуда, казалось, никакие ураганы не выветрят сурового аввакумовского духа. Крепкие крестьяне, поразившие когда-то молодого Бунина, на глазах Казакова уже доживали свой век, перетерпев такие повороты судьбы, какие и не снились бунинским персонажам – собирателям ли антоновских яблок, князю ли во князьях. Так что сама фактура, предмет изображения во многом содействовали довольно скорому преодолению ученичества.

В 1958 году Юрий Казаков начал издаваться. В Архангельске вышли детская книжка «Тэдди» и сборник рассказов «Манька». В ноябре автора приняли в Союз писателей. Он был признан видными мастерами литературы: его удивил и растрогал своим письмом Константин Паустовский, за его творчеством стала следить Вера Панова, он уже слышал добрые слова от В.Шкловского, И.Эренбурга, М.Светлова, Ю.Олеши, Вс.Иванова. Его стали переводить за границей.

Но критика встретила молодого писателя неласково. Травля сопровождала едва ли не каждую его новую публикацию.

В том же 1958 году, когда вышли его первые книги, Казакова чуть было не лишили диплома о высшем образовании. Государственная комиссия отметила неудовлетворительным баллом рассказы из сборников «Манька» и «Легкая жизнь», и только хлопотами Всеволода Иванова гнев был сменен на милость и новеллы, впоследствии изданные не только на родине, но и в Италии, Франции, Англии, США, Японии, получили снисходительную троечку. А кто сейчас помнит тех строгих судей?

В мае 1959 года К.Г.Паустовский напечатал в «Литературной газете» статью «Бесспорные и спорные мысли», в которой целый абзац был посвящен Юрию Казакову. Как раз в те дни с прилавков книжных магазинов была буквально сметена книга молодого писателя «На полустанке», изданная наконец в самой Москве. Авторитет К.Г.Паустовского был чрезвычайно высок в глазах читателя, и это привело в бешенство партийные и литературные власти. На Казакова, отмеченного признанием мастера, была спущена с цепи целая свора злобных критиков, среди которых особой свирепостью отличался Владимир Бушин. Борьба шла на истребление, и хотя Оттепель стояла на дворе, заступаться не полагалось. Лишь одна Инна Соловьева отважилась на серьезный

анализ прозы Юрия Казакова, но голос ее утонул в разносном гвалте, особенно усилившемся к концу года, когда «Октябрь» напечатал «Трали-вали», осторожно сменив название на фельетонный заголовок «Отщепенец». Не помогла осторожность.

Критика в те времена не оставалась без последствий. После «Трали-вали» Юрий Казаков на много лет был отлучен от толстых журналов.

В 1961 году по инициативе К.Г.Паустовского в Калуге вышел первый и последний выпуск альманаха «Тарусские страницы». Юрий Казаков поместил в нем три рассказа: «Запах хлеба», «В город» и «Ни стуку, ни грюку». Альманах был подвергнут разгрому; когда спохватились изъять, запретить, он был весь распродан, зато по библиотекам прошел приказ о списании этой книги. В Калуге сняли с работы руководство издательства, а вскоре по всей стране ликвидировали две трети областных издательств, и Калужское – в первую очередь. С особой яростью критики терзали повесть Б.Окуджавы «Будь здоров, школяр» (даже упоминать ее запрещалось особым циркуляром Главлита аж до самой гласности) и рассказы Ю.Казакова.

За что ж его так?

Ведь Казаков был намеренно аполитичен и отродясь никакой крамолы не писал. Из всех его рассказов один только «Нестор и Кир», уже после публикации в алма-атинском «Просторе», подвергся основательной цензорской чистке и вышел изуродованным. Но вот перечитываешь наиболее битые критиками рассказы – «Старики», «В город», «На полустанке»… Так у «деревенщиков» – В.Белова, Ф.Абрамова, Е.Носова – те же сюжеты куда как острей, и ничего, сошло. Правда, «деревенская проза» пришла позднее, и Казакову досталось как первопроходцу: он первым ступил на запретную полосу и каждым своим новым рассказом создавал и новый прецедент, расширяя тем самым меру допустимости. После Казакова – можно. И «Плотницкие рассказы», и «Деньги для Марии», и «Деревянные кони»…

Претензии критиков к Ю.Казакову сегодня кажутся смехотворными. Самым страшным грехом в эпоху торжества социалистического реализма была литературность. Никого не смущало, что винить писателя в литературности так же курьезно, как хорошего слесаря в слесарности, – такова была политика. Всякий поиск новых форм пресекался в зародыше, традиции же дозволялись не всякие. Власть лелеяла литературу эпическую. В общественном мнении ее сталкивали лбами с литературой лирической и всегда присуждали победу.

Лирическая проза – и в этом ее главное отличие от эпической – не поддается так называемому идейному анализу, а

соответственно и контролю. В ней ведь первенствует не семантическая грубая значимость, а музыка слова – органическая, нерасчленимая, ведомая не сюжетом, а ритмикой. Сюжет здесь вообще не играет большой роли, и чем выше мастерство лирического прозаика, тем незначительнее в его рассказах сюжет.

Лирический писатель не меньше эпического мучается проблемами века, страдает, печалится, ненавидит, любя. Без этих мук он не способен сотворить подлинно поэтическую фразу: равнодушие не медлит проявиться оскорбительной фальшью. Но лишь в дневниках и письмах он позволяет себе прямые высказывания на этот счет. В рассказах же, которые и рождаются из сонма философских, религиозных, социальных раздумий, их нет и следа. Музыкальная стихия лирического произведения сама все скажет желающему и умеющему услышать, более того, она открывает широчайший простор для самых разнообразных ассоциаций читателя, не связывая его жестокой однозначной мыслью, с которой можно было б лишь согласиться или возразить.

Особое мужество требуется, чтобы стать лирическим писателем. Избравший этот путь глух к призывам как официальной, так и оппозиционной критики к открытой гражданственности, к четкой идейной позиции; он намеренно сопротивляется соблазну тщеславия прорваться в писатели «первого ряда», что с авторами эпических полотен происходит независимо от их мировоззрения, будь то Солженицын или, наоборот, Шолохов. Но почему-то с лирической литературой советская власть расправлялась особенно круто. Если вспомнить биографии русских поэтов советского времени, удивительная странность обнаруживается: революционеры, ниспровергатели основ с пылкими гражданскими страстями прожили, смирившись, жизни довольно благополучные, хоть и подловатые. Исключения, конечно, были, но именно исключения. А эстеты, небожители – Ахматова, Волошин, Андрей Белый, Гумилев, Мандельштам, Пастернак, Цветаева – были обречены на героические судьбы. В чем же так виноваты перед режимом оказались эти «певцы интимного мирка», как презрительно определяла их творчество официальная, государственная критика?

Литература лирическая таинственна, непонятна скудному схематическому рассудку. А непонятное страшнее прямой вражды. В мире, где «шаг вправо, шаг влево рассматривается как попытка к бегству», поэт не смеет жить по законам, самим над собою признанным. Это верно для всех тоталитарных систем, в которых легче отпустить на волю ясного как день разбойника, а уж казнить – так Иисуса Христа, понятного лишь избранным;

помиловать в минуту раскаяния вора, но ослепить Барму и Постника… И реакция, и революция в выборе жертвы всегда почему-то единодушны.

Вступая на путь лирической прозы, Юрий Казаков прекрасно осознавал, на что шел. Неслучайно его единственное эссе называется «О мужестве писателя». Логическому прямолинейному разуму трудно дается этот силлогизм: литература и мужество. Почему из всех человеческих достоинств писателю первым требуется именно это? Рассказ написать – не на амбразуру же бросаться! Миллионы рассказов написаны до Казакова, миллионы будут писаться и после него… При чем тут мужество? А при том, что из миллионов сохранятся лишь десятки, оставленные после себя мужественными людьми.

В шестидесятые годы уходили из жизни учителя – целое поколение русских писателей, чудом выживших в годы неслыханной тирании и ставших как нравственным, так и художественным авторитетом нашей духовной жизни, – Б.Пастернак, А.Ахматова, К.Паустовский… Когда живы носители национальной нравственности, людям слабым, неустойчивым к мирским соблазнам бывает несколько затруднительно совершать поступки нечистоплотные. А с их уходом наступает беспризорность и становится всё можно, всё дозволено. Как-то трудно представить себе при живом Паустовском странные метаморфозы, происшедшие с одним из любимых его учеников, стоявшим у истоков «лейтенантской» прозы. Но для таланта сильного эта безнадзорность, эта свобода обрушивается новой мерой ответственности.

«Бывают странные сближения», и нечаянные совпадения обретают роковой смысл. В середине шестидесятых годов резким, внезапным ударом – арестом и судебным процессом А.Синявского и Ю.Даниэля – оборвалась Оттепель. А с ней – все надежды отвоевать новые миллиметры свободного пространства в темах, стилистике, в художественном образовании мира. Вся лирическая проза Юрия Казакова, написанная в годы Оттепели, была пронизана светлым и тревожным, как перед дальней дорогой, ожиданием и надеждой. А вдруг оказалось, что ждать нечего, надеяться не на что. Весна отменяется, и надо думать, как и чем жить дальше.

И писатель замолк. Много раз брался за продолжение «Северного дневника», за старые свои замыслы… В минуты отчаяния – а они часты, почти ежедневны, когда не пишется, – казалось, что не только ожидание и надежда, но с ними и сам талант покинул его.

А между тем Юрия Казакова признали. Странным было это

признание. Удушающим. От него наконец отцепились и даже зачислили в «обойму», и иногда по литературным праздникам звучало: «такие прозаики, как Ю.Нагибин, Ю.Трифонов, Ю.Казаков…», а дальше калибр намеренно мельчал, чтобы начавшие список знали свое место, – и все. Выходили книги, и судьба их была удивительна. Самому автору для подарков знакомым не всегда удавалось их купить – они исчезали с прилавков моментально и даже не всплывали спустя годы единичными экземплярами в букинистических магазинах. И полное, гробовое молчание литературных журналов и газет.

К тому времени если не профессиональным критикам, то настоящим ценителям литературы было ясно, что Юрий Казаков – автор непревзойденной прозы: «На полустанке», «Некрасивая…», «Голубое и зеленое», «Тихое утро», «Арктур – гончий пес», «Нестор и Кир», «Осень в дубовых лесах», «Плачу и рыдаю…», «Проклятый Север» – все эти вещи будут жить, пока жив русский язык, без них нет нашей литературы XX века. Понимал это и сам писатель, у него доставало сил и профессионализма без ущерба для репутации выдавать новые рассказы, не снижая достигнутого уровня. Но – не мог. Не хотел.

Давно отлетело юношеское тщеславие, а гордое самолюбие, напротив, не выпускало тексты на публику. Пришло ясное понимание истины: писатель служит не ценителям литературы, а самой литературе, совершенству, он ищет Бога в Слове. А потому множатся черновики и скудеют беловики. Скудеют, скудеют и, наконец, безжалостно уничтожаются рукой взыскательного художника. Одному посредственному писателю в ответ на жалобы, что не признают, не печатают, Казаков с тяжкой грустью ответил:

– Куда ты суешься, чудило?! Литература – это же смертное дело!..

В работе над словом рано или поздно настает момент, когда перо стремительно летит, обгоняя мысль, слова сами, даже не помимо, а где-то над изумленной волей автора выстраиваются в гармонические ряды, а потом в середине натруженного рассказа, повести, романа возникают страницы… Эти странички, абзацы, эпизоды особенно осязаемы в прозе, будто свет от них исходит, но блекнет рядом весь прочий текст. Это великолепно, когда писатель, измучив уйму черновиков, находит точное слово, но это божественно, когда слово находит писателя. Да только чтобы слово нашло писателя, надо тысячи раз находить самому.

Драма казаковского почти десятилетнего молчания в том, что его истерзала страсть писать словами не теми, которые нашел автор, а теми, что нашли автора. Слово найденное, пусть даже и в

муках, перестало удовлетворять: в нем обнаруживается конструкция, то есть авторское своеволие. Звуков фальшивых не было, Казаков органически был неспособен писать небрежно, но были звуки лишние – только чуткое и жестокое ухо автора могло различить их. Но – различало. И перо останавливалось.

Молчанию была еще одна, может быть, менее существенная, причина. Ушла тема. В свое время А.С.Пушкин, прочитав ершовского «Конька-Горбунка», заметил: «Этот жанр я могу оставить». Юрий Казаков, первым поднявший всерьез, без штампов, тиражировавших по всем селам и весям лубочную схему «Поднятой целины» или «Счастья», тему русской деревни, мог уже спокойно оставить ее, – с середины шестидесятых годов начался подъем «деревенской прозы», пора открытий на этой ниве для Ю.Казакова кончилась.

Опыт странствий, этнографических изумлений иссяк, а опыт оседлой сосредоточенности налаживается долго и терпеливо и требует высшего мужества.

23 февраля 1963 года Юрий Казаков оставил в дневнике такую запись: «Написать рассказ о мальчике 1,5 года. Я и он. Я в нем. Я думаю о том, как он думает. Он в моей комнате. 30 лет назад я был такой же. Те же вещи». И почему-то на той же странице: «Джаз поет о смерти, все о смерти – какая тоска! Но жизнь. А он все о смерти».

Обозначена тема. Найдено ее музыкальное сопровождение. Надо сказать, джаз, хороший джаз, всегда почему-то печальный, всегда о смерти, звучит во всех лучших рассказах Юрия Казакова, иногда даже и не упоминается, но все равно звучит, завораживая блюзовой тоской. «Но жизнь». И действительно, в смертной тоске сила жизни пробивается яростнее.

Вроде все есть для рассказа. Садись и пиши. Ведь совсем недавно, по тому же дневнику судя, рассказ «Вон бежит собака!» написан всего за три часа. Великолепный рассказ, тонкий, поэтичный. И какие слова в нем найдены, чтобы описать легкое, смутное влечение, а потом не то досаду, не то раскаяние… То-то и оно, что найдены. А новая тема требует иных слов.

Нужно прожить одиннадцать лет интенсивной, напряженнейшей внутренней жизни, чтобы тебя нашли эти иные слова и повели все ту же, давно найденную мелодию: «Такая тоска забрала меня вдруг в тот вечер, что не знал я, куда и деваться – хоть вешайся!» Так начинается «Свечечка» – рассказ, полный мыслей и чувств неслыханной простоты – о родине, об отчем доме, о любви к ребенку и любви самого ребенка… С этими мыслями, чувствами человек является в мир, но проходит вся жизнь, чтобы через метания и пустую суету, сомнения,

заблуждения, разочарования и надежды вновь открыть эти истины, как в первый раз.

В 1977 году Юрий Казаков публикует свой, как оказалось, последний рассказ – «Во сне ты горько плакал». Тема, заданная еще в той давней дневниковой записи 1963 года и начатая «Свечечкой», развивается в головокружительной высоты и непосильности вариации. Две души соединяются в мелодии рассказа: детская, являющаяся в мир, и душа отлетающая.

«Во сне ты горько плакал» с трудом поддается анализу и вряд ли будет осмыслен в полном объеме. Анализ предполагает разъятие: на сюжетные линии, элементы композиции, образы, на цитаты, наконец. Но цитировать этот рассказ так же невозможно, как вырвать отдельную строчку из онегинской строфы: за фразу цепляется следующая, но мелодия неостановима, и конца этому нет, пока рука переписывающая не упрется в точку за словами: “А было тебе в то лето полтора года”. Да, оно – совершенство – достигнуто, страсть, разбуженная когда-то в молодости И.А.Буниным, утолена… Но какой ценой!

«Свечечка» и «Во сне ты горько плакал» дают разгадку и оправдание многолетнему изнурительному молчанию писателя. А что за ними, за этими шедеврами?

А за ними – новые страдания, ибо это неверно, что страсть утолена, страсть к совершенству неутолима. Впереди новые месяцы, годы надежд и отчаяния, когда снова кажется, что талант ушел, и нужно еще больше мужества, чтобы терпеть, ждать, собирать силы для нового шедевра.

Но для нового шедевра нужны силы нечеловеческие. И человеческие, впрочем, тоже. Человеческие же иссякли в ночь на 29 ноября 1982 года.

Елена Холмогорова Дон Кихот, Акакий Акакиевич и ослик Иа-Иа

Моя бабушка, мамина мама, когда я уже работала редактором, сокрушалась: сколько же рукописей я привозила из Москвы на дачу. И, проходя мимо гамака, где я поглощала очередной графоманский роман, вздыхала: «Ну что ты все работаешь и работаешь. Пошла бы почитала…»

Складывать буквы я научилась года в три, так что в памяти не отложилось, как мне читали вслух, хотя, конечно же, и Чуковский, и Барто, и разные сказки – одним словом, все что положено, я услышала. Более того, вероятно, читали мне много «нестандартного», например, пушкинскую «Полтаву», иначе откуда бы мое первое сочинение было поэмой и называлось «Полтавский бой»? Тетрадочка с ней, увы, не сохранилась, а в голове застряла только одна строчка: «тут поднялся огонь над танком». Было мне тогда пять лет, писала я, судя по сохранившимся открыточкам, еще весьма нетвердо и коряво, а стихи слагала куда шустрее. Поэму под мою диктовку записала Вера Николаевна Маркова – великая переводчица с японского, вторая жена деда и, в сущности, моя бабушка с папиной стороны, поскольку родная умерла в моем младенчестве.

Пастернак сказал, что отрочество – это «часть, превосходящая целое». В отношении чтения оно у меня началось так рано, что я не очень хорошо помню собственно детские книги. Могу предположить, что их содержание было не так важно, как то, что из букв, этих закорючек, вроде бы «из ничего», возникал, а потом и оживал выдуманный мир. Меня пробирал легкий озноб перед этим таинством. И чтение было больше строительным материалом для воображения, нежели пищей для ума.

Теперь попытаюсь реконструировать свои предпочтения.

Как оказывается, я больше всего любила читать про *другую* жизнь, но реальную, без фантастических допущений. Про ту, о которой можно было мечтать, разыгрывать, домысливать, подставлять себя под персонажей. И первенство здесь принадлежит книгам *о дореволюционном детстве, о гимназиях* . «Дорога уходит вдаль» Александры Бруштейн, «Серебряный герб» Чуковского, «Белеет парус одинокий» Катаева, «Кондуит и Швамбрания» Кассиля, тыняновские «Кюхля» и «Пушкин» о лицее. Проглатывала все про «стародавние» времена: «Детство Тёмы» Гарина-Михайловского и «Детские годы Багрова-внука» С.Аксакова, автобиографические произведения русских классиков

от «Детства» Льва Толстого до «Детства Никиты» Толстого Алексея.

Что бы ни говорили мои отрекающиеся от проклятого прошлого коллеги, многие *советские книжки* читались без всякого принуждения, даже взахлеб. Любила «Васек Трубачев и его товарищи» Валентины Осеевой, гайдаровского «Тимура и его команду», «Кортик» и «Бронзовую птицу» Анатолия Рыбакова. Более того, некоторые книги о пионерах-героях и о детстве революционеров перечитывала по многу раз, особенно почему-то «Мальчика из Уржума» А.Голубевой о детстве Кирова и «Четвертую высоту» Елены Ильиной. Никакой фальши и идеологической составляющей я в этих книжках не чувствовала. И мне всегда кажутся лукавыми, если не лживыми рассуждения многих о том, как они были антисоветчиками с пеленок. Впрочем, отвратительны были две ярко идеологически окрашенные книги – фадеевская «Молодая гвардия» и «Овод» Войнич. А сочинения, в которых пионеры проявляли лучшие во все времена человеческие качества, мне не претили.

Книги, где торжествовали безусловные ценности добра, благородства и любви, – «Маленький принц» А.Сент-Экзюпери, «Убить пересмешника» Харпер Ли, «Король Матиуш Первый» Януша Корчака, «Принц и нищий» (единственное любимое у Марка Твена) – были мне очень близки, как и назидательные сказки типа «Джельсомино в стране лжецов», «Чипполино», «Снежная королева», «Золушка», и другие где непременно побеждает справедливость и желательно наказывается порок.

«Книги для мальчиков», всякого рода приключения, я читала в разноцветных томах «Золотой библиотеки», но за редкими исключениями не перечитывала никогда. Разве что «Квентин Дорвард» Вальтера Скотта и «Черная стрела» Стивенсона застряли в памяти. У Жюля Верна больше запоминались не приключения, а персонажи, особенно, конечно, загадочный капитан Немо. А из Майн Рида – «Квартеронка», да и то потому, что в нее, как, кстати, и в «Трех мушкетеров», мы играли. Как теперь определили бы – ролевые игры.

Вроде бы в том же ряду стоят «Гулливер» и «Робинзон Крузо». Но обе они – в числе самых драгоценных, потому думаю, что там больше психологии, чем сюжетных поворотов, во всяком случае, – она существеннее. Никакой сатиры в «Приключениях Гулливера» я, конечно же, не улавливала. (Так же я любила Рабле, его «Гаргантюа и Пантагрюэля», не чувствуя сатирического духа книги.) «Робинзон Крузо» был зачитан до дыр, потому, думаю, что меня невероятно трогало, как человек выживает в немыслимой ситуации.

Почему-то «Том Сойер» не запал мне в душу, а вот один эпизод из «Гекльберри Финна» имел неожиданные последствия. Когда Гек, скрываясь, переоделся в женское платье, одна проницательная женщина нашла способ его проверить. Она бросила ему кусок свинца, и тот, чтобы поймать его, резко сдвинул колени, как это делают одетые в брюки мальчики, а вовсе не раздвинув их, по-девчоночьи растянув юбку. И так он был разоблачен. Буквально через несколько дней я помогала своей бабушке – замечательной вязальщице – разматывать мотки шерсти, держа их на растопыренных затекающих руках. В какой-то момент она кинула мне клубок. И, о ужас! Я поймала его, инстинктивно сдвинув колени! Никаких брюк мы тогда не носили, и страшная паника охватила меня. Я не настоящая девочка! Никогда, никогда, в отличие от многих подружек, не мечтала я быть мальчиком… Ни про какие перверсии, разумеется, не только мы, но и наши родители-то особо не знали. Но сейчас думаю, что это был едва ли не первый толчок сексуальности в мою жизнь.

Вопрос, который я не устаю задавать сама себе: почему дети любят читать *про страшное* ? Начиная с Барто: «оторвали Мишке лапу», «зайку бросила хозяйка», «сейчас я упаду…», или у Чуковского «И куда вы, толстопятые, сгинули…»… Помню, как взяла читать том Метерлинка – из-за «Синей птицы», но зачиталась и дошла до «Слепых». Было мне лет десять-одиннадцать. Взрослые ушли в гости, а я одна в квартире, цепенела от ужаса, но от книги почему-то не отрывалась. И тут зазвонил телефон. Я понимала, что это родители и что они сойдут с ума, если я не отвечу, но для этого надо было пройти через темный коридор… С закрытыми глазами я пронеслась к телефону и схватила трубку дрожащими руками.

Я любила над книжкой *поплакать* . Аксаковский «Аленький цветочек», выученный наизусть, неизменно вызывал ужас, что чудовище погибнет. «Козетта» Виктора Гюго входила в число многократно перечитываемых, как и те книжки, где был детский приют («Оливер Твист»), сиротство (Гектор Мало «Без семьи», чеховский «Ванька»), угнетаемые негры («Хижина дяди Тома»), «Маленький оборвыш» Гринвуда или что-то в этом роде. Отдельно хочу сказать о шолом-алейхемовском «Мальчике Мотле» не только потому, что это, и на мой сегодняшний взгляд, великая книга, но и потому, что именно на ней я впервые задумалась о своих еврейских корнях. Мальчик Мотл своей речью, интонациями и многими неуловимыми чертами напоминал мне деда Исаака.

Как ни странно, в эту же категорию «поплакать» входил «Дон

Кихот», конечно, адаптированный. Я стала искать в Интернете автора пересказа для детей, но вместо этого наткнулась на цитату из Генриха Гейне: *«Сердце мое готово было разорваться, когда я читал о том, как благородный рыцарь, оглушенный и весь смятый, лежал на земле и, не поднимая забрала, словно из могилы, говорил победителю слабым умирающим голосом: «“Дульсинея Тобосская – самая прекрасная женщина в мире, а я самый несчастный рыцарь на свете, но мое бессилие не должно поколебать эту истину”»* . «Хитроумного идальго» трудно назвать «маленьким человеком», но по силе испытанного сострадания он сопоставим для меня только с Акакием Акакиевичем. Его было безумно жаль, и как никому из литературных героев хотелось ему помочь, а «Шинель» я и сейчас читать без слез не могу. Раз уж я раскрываю градус своей читательской чувствительности, не постыжусь, нарываясь на упреки, включить в этот ряд ослика Иа-Иа, типологически им родственного и вызывающего то же душераздирающее сочувствие.

Фантастика как-то прошла мимо меня. Хотя «Аэлита» Алексея Толстого и «Голова профессора Доуэля» Беляева не раз перечитывались, как и многое из Брэдбери. Стругацким я отдаю дань умом, но не сердцем. А вот ефремовская «Туманность Андромеды» меня захватила. Там действовали странные люди, с таинственными именами, многое было непонятно, но обычные человеческие отношения и чувства, вставленные в экзотическую картину далекого будущего, меня волновали. (Аберрация: хотела назвать «Солярис» С.Лема. Потом поняла, что книгу читала после фильма Тарковского, который по сей день остается для меня одним из любимейших, уже студенткой.)

Познавательные книжки всегда подсовывал мне отец и неизменно обсуждал их со мной: даже казалось, что он меня проверяет. Это было непривычно и немного отвращало, хотя среди них попадались и безусловно интересные. Была у меня и единственная на то время «Детская энциклопедия» – невыразительного песочно-бежевого цвета тома, большинство которых я так и не открыла. Но исторический том очень любила, почему-то хорошо помню главу про крестовый поход детей и хронологические таблицы. Отдельная история – Борис Житков «Что я видел». Посмотрела в Интернете – к моему удивлению, переиздается по сей день. Наверное, для сегодняшних детей она похожа на одну из читаных-перечитаных моих книжек «День египетского мальчика» М.Матье, а то и на «Приключения доисторического мальчика» Д’Эрвильи или «Борьбу за огонь» Жозефа Рони-старшего – так неузнаваемо изменилась жизнь. Среди книг такого рода был у меня безусловный фаворит – «Китайский секрет» Елены Данько. Картонная сине-серая

обложка, на которой красовался китаец в национальной одежде с тугим узелком волос на голове, держалась на честном слове, многие страницы были надорваны – вероятно, она попала ко мне далеко не новой. Я ее знала наизусть, но читать о том, как коварные европейцы стремились выведать тайну изготовления фарфора, могла без конца. Эта была такая же иная цивилизация, как мир первобытных людей, хотя и куда более близкая по времени.

А вот еще одна книга, в которой я в основном любила рассматривать фотографии с подписями. Огромный синий том с тисненым гербом СССР и золотом – «Сегодня и вчера». Это пропагандистское издание в стиле «Книги о вкусной и здоровой пище» все было построено на сравнении нищей дореволюционной России и угнетенных людей и, соответственно, благоденствия в сталинском СССР (книга была издана в 1937 году!). Самое сильное мое впечатление – две фотографии с общим пояснением «Жизнь шахтеров прежде и теперь». Богатырь-стахановец с отбойным молотком на плече мне очень нравился, а заморенные жилистые мужички, ютящиеся в отгороженных занавесками закутках, внушали жалость и даже некоторую неловкость: зачем же они себя, таких, позволили фотографировать? Преимущество социализма было явлено в этом томище с безоговорочной убедительностью. Волею капризной судьбы том этот у меня сохранился, и я обнаружила, что текст книги написан младшим братом С.Маршака – М.Ильиным. При сегодняшнем взгляде оказалось, что это не зубодробительная агитка, а тонко выстроенный и бьющий точно в цель пиар-проект.

Всякое популярное естествознание не очень меня захватывало. Исключение – «Занимательная астрономия» Камилла Фламмариона, по которой мы с подругой Машей пытались построить модель Солнечной системы. Мы подобрали шарики, соответствущие размеру планет в масштабе, но – о, горе! – модель не поместилась даже в длинном коридоре ее квартиры, и мы вылезли с Нептуном на лестничную клетку, за что нам сильно влетело от пришедших домой взрослых. Хорошо, что Плутон во времена Фламмариона еще не был открыт, ведь тогда нам пришлось бы звонить в квартиру напротив.

Позже я очень увлеклась историческими книгами. Самыми любимыми стали «Хроники времен Карла IX» П.Мериме и «Чингисхан» В.Яна. А подростковая мечта писать исторические книжки для детей привела меня на исторический факультет педагогического института – в то единственное место, где, как я считала, меня одновременно научат и истории, и тому, как ее надо подать детям. О, юношеский максимализм, о, девичье

упрямство… Историческая книжка для детей из-под моего пера вышла всего одна – «Великодушный русский воин» – о генерале Николае Раевском – герое 1812 года.

Большое место занимали *книги о животных* : Бианки, Пришвин, Чарушин, Сетон-Томсон, позже Дж.Даррел, «Жизнь насекомых» Фабра. Но гораздо сильнее увлекали не рассказы про повадки диких обитателей лесов, степей и пустынь, а истории про зверей очеловеченных, как в «Белом клыке», «Бемби», «Ослике Маффине», «Чудесном путешествии Нильса с дикими гусями» и, особенно, «Маугли». То есть не собственно про зверей, а про неких условных живых существ, на грани сказки и реальности, поскольку я верила (и не только остаюсь при этом убеждении до сего дня, но и укрепилась в нем), что животные абсолютно разумны, а мы просто их не понимаем. А вот «Сказки дядюшки Римуса» Джоэля Харриса были всегда чужими, какой-то непроизносимый и непредставимый Братец Опоссум меня отталкивал. Интересно, что понятие «смерть» долго относилось не к людям, а к животным: «Каштанка», «Муму». И помню, как я рыдала над поэмой Эдуарда Багрицкого «Смерть пионерки», не вникая в ее богоборческий пафос, а от ужаса несовместимых понятий «пионерка» и «смерть».

Не знаю, к месту ли здесь будет сказать о «Винни-Пухе». Потому что это для меня своего рода «книга-обманка». Я ее полностью принимаю, бесспорно включила бы в свой топ-10, и поверить не могу, что прочитала ее не в раннем детстве, а после многих «серьезных» книг.

Как-то до сих пор я почти ничего не сказала о том, что для детей, может быть, наиболее привычно, – о *сказках* , хотя в круг моего чтения входили Андерсен, братья Гримм, Шарль Перро, народные сказки – в основном восточные, экзотические.

И на самом деле сейчас мне, пожалуй что, интереснее было бы составить список книг, которые я в детстве *не любила* . Точнее будет выбрать другое слово – которых *не понимала.* И, как ни странно, это как раз многие сказки. Самый яркий пример – «Алиса в стране чудес» – книжка, бесспорно, культовая (недавно перечитала, сходила на нашумевший фильм, вооружившись очками 3D). Мне как были, так и остались несимпатичны почти все персонажи. Пытаясь задним числом систематизировать свою антипатию, прихожу к таким выводам. Детские проказы, противостояние взрослым в каком бы то ни было виде, опасные игры и непослушание как основополагающий прием меня не трогали. Я росла девочкой послушной, и нарушение границ и запретов восторга у меня не вызывало. Это, конечно, относилось не только к сказкам. Например, терпеть не могла «Денискины

рассказы» Драгунского, «Незнайку», «Буратино», всю Астрид Линдгрен. «Карлсон» мне казался, как теперь бы сказала, извращением и даже вызывал какую-то неясную брезгливость. Открытый протест не был органичен для моей натуры, мне ближе как была, так и осталась «внутренняя эмиграция», так я, видимо, и доживу конформистом.

Очень я не полюбила «Мастера и Маргариту» – мне казалось избыточным и фальшивым все, что окружало трогательную любовную линию и условно библейскую. Когда она только-только была опубликована, а номера журнала «Москва» передавались из рук в руки и читались в компаниях вслух, мне было пятнадцать лет – самый возраст для этой книги. Я не могла разделить всеобщего восторга, но хорошо помню, как, стесняясь этого, делала вид, что солидарна с царящей эйфорией. Сейчас думаю, что это типологически связано с нелюбимой волшебной сказкой.

И еще одна странность, не находящая решительно никакого объяснения. Без ложной скромности готова утверждать, что Господь не обделил меня чувством юмора. Но мимо прошли «Записки Пиквикского клуба», как и «Трое в одной лодке», «Янки при дворе короля Артура», «Бравый солдат Швейк». Понимаю, что привожу примеры разной природы юмора и сатиры, но как-то это, видимо, не мое, не смешно, а временами кажется безвкусным. Хорошо бы, кстати, перечитать…

Немного в сторону от чтения, хотя и про него тоже. До сих пор с изумлением наблюдаю вместе хохочущих над мультфильмами детей и родителей. Я далеко не всегда могу уловить, что происходит на экране, если картинка стремительно меняется. У меня отличная реакция на слова собеседника, всё, что называется, секу, вижу не только текст, но и подтекст, да и в движениях быстра. А тут – какая-то тупость. То же самое касается детективов и вообще любой остросюжетной литературы и, соответственно, кино. Во-первых, меня не привлекает скорость действия, быстрая смена мизансцен. Во-вторых, я часто не могу понять ни логики, ни психологических мотивировок, особенно если сюжет криминален.

Полагаю, что все это растет из одного корня.

Как любую девочку-девушку меня влекла *романтическая и сентиментальная литература.* Здесь требуется отступление. Потому что есть одна книга, которая, безусловно, не просто поразила мое воображение – дала новое направление мыслям – «Алые паруса». Степень заезженности этой гриновской повести на сегодняшний день такова, что о ней как-то сложно говорить всерьез. Но я прекрасно помню свое ошеломление, смешанное с девическим томлением. Отсюда уже один шаг до «Унесенных

ветром». Впрочем, не знай я английского языка, она не была бы прочитана вовремя, потому что русский перевод появился к моему тридцатилетию, а «вовремя» для этой книги – лет пятнадцать. То же самое касается «Здравствуй, грусть» Франсуазы Саган. А потом пошли ремарковские «Три товарища», «Фиеста» Хемингуэя и «Маленькая хозяйка большого дома» Джека Лондона, фицджеральдовская «Ночь нежна» – короче, там, где про любовь и верность. Кстати сказать, Мопассан, Мериме, Стендаль были прочитаны очень рано, ясно почему – про любовь! Интересно, что достаточно тонко чувствуя фальшь, дурной вкус, бедный язык, в подобных книгах я не улавливала различия между настоящей литературой и откровенной, легковесной, как теперь сказали бы, «массовой» мурой. Тема оказывалась куда важнее качества.

В радость, а вовсе не по школьной программе читалась *русская классика.* Тургенев, «Война и мир» (разумеется, в той части, где «мир»), позже – Бунин.

Интересно, что *культовые книги позднего отрочества* — воннегутовская «Колыбель для кошки», «Игра в бисер» Гессе, «Сто лет одиночества» Маркеса – остались со мной навсегда. («Игру в бисер» наряду с «Анной Карениной» и «Волшебной горой» Томаса Манна я непременно перечитываю каждые несколько лет.)

Книги я глотала, к сожалению, пропуская страницами, чтобы уловить содержание. Терпеть не могла описаний (кто бы мне тогда сказал, что я буду так ими упиваться). Этот навык быстрого чтения странным образом годы спустя помог мне в редакторской работе, когда приходилось переваривать огромное количество рукописей. Тут явилась и оборотная сторона: надо было приучать себя читать внимательно, что даже породило привычку водить линейкой по строчкам. Но в детстве «проглоченная» книжка слишком быстро заканчивалась. Поэтому толщина книги имела значение и была заведомым плюсом. И здесь, конечно, пальма первенства принадлежит Диккенсу. Общепринятое мнение: у Диккенса трудно продраться через первые несколько десятков страниц. Не знаю, «Домби и сын», «Дэвид Копперфильд» «Холодный дом» обожала. Немного позже на смену Диккенсу придет Голсуорси. «Сагу о Форсайтах», все ее тома, я читала неоднократно, почему-то особенно во время болезней.

Книги были дома, их брали друг у друга и, конечно же, в библиотеке. Часто я привязывалась к тому или иному изданию, совершенно не обязательно хорошему. Впервые я прочитала и много раз перечитывала «Войну и мир» в однотомнике, отвратительно набранную в две колонки – бледным шрифтом на желтоватой бумаге. Огромный тяжеленный фолиант надо было держать перед собой на столе или на коленях, что противоречило

моей привычке читать лежа, но очень долго я не могла привыкнуть, что этот текст может выглядеть по-иному. И, разумеется, некоторые книжки были немыслимы без привычных иллюстраций, как, например, «Робинзон Крузо» без Жана Гранвиля.

В стороне от моего рассказа осталась *поэзия.* Скажу только, что ее в отрочестве было много, и надо признаться, с тех пор вкусы мои не слишком изменились.

Итак, за вычетом того, что перечитывается как «взрослое» сегодня. Что осталось? Попыталась составить список, сбилась. И расстроилась: наверняка много важного забыла, потом буду казниться…

Бог даст, появятся внуки, тогда будет повод и вернуться к своим любимым книжкам, и понять, что читается сегодня. А пока – пойду-ка и сниму с полки «Робинзона Крузо» – сейчас куда больше, чем в детстве, требуется пособие по выживанию…

P.S. Написавши всё это, отправила с трепетом своей лучшей подруге Маше, с которой было общее детство и, соответственно, чтение (выше я описывала, как мы строили модель Солнечной системы). Почему с трепетом – объясняю. Дело в том, что Маша – ни много ни мало профессор Кембриджского университета Мария Николаева, один из крупнейших в мире специалистов по детской литературе, автор целой полки научных трудов. Думаю: посмеется над моими перечислительными поверхностными заметками. Но она отнеслась к ним вполне снисходительно, и мы долго по скайпу предавались воспоминаниям.

А вот смеяться пришлось мне. По Машиным замечаниям, наверное, стоило бы текст переделать, но мне показались мои ошибки настолько забавными и показательными, что я решила оставить все как есть и только прокомментировать.

То, на чем я споткнулась, вполне типично. Я постулировала, что не любила сказки, и в то же время без всяких оговорок включила множество их в число любимейших книг! Такого рода невольные подмены случаются нередко и в любых сферах сознания. По-научному это называется красивым словом «конфабуляции» – когда человек так настойчиво убеждает себя в том, чего на самом деле не было, что начинает верить в это (такой феномен, в частности, хорошо известен криминалистам). И наоборот. Я привыкла как аксиому воспринимать, что я сказки не любила, а потому раз книга любимая – значит, не сказка. Конечно же, я об этом написала крайне нелогично, перепутав все на свете! Но пусть остается так. Это же не научная статья, а мемуары читателя…

Образ жизни

Елена Холмогорова, Михаил Холмогоров В гостях у классиков

Мы оба – коренные москвичи. Здесь у нас родня, одноклассники, коллеги, друзья – кто еще жив, конечно. Мы не одиноки в этом городе. Но как-то не принято даже к близким являться, не сговорившись заранее. Однако есть, и немало, в нашем городе домов, где нас ждут всегда и где нам гарантирован не только теплый прием, но безмолвный диалог с умным собеседником. Туда мы можем приходить без приглашения, хоть каждый день, и обращаться к хозяевам без официального «господин», а запросто, по имени-отчеству.

У Александра Сергеевича и Бориса Николаевича

Так бывает только в «машине времени» – одна дверь ведет из сегодняшнего дня в две разные эпохи, указующие стрелки из общего вестибюля в два пристанища – Пушкина и Андрея Белого.

Два Арбата, две судьбы. Арбат еще дворянский, на тротуарах которого отпечатаны пушкинские следы (хотя он и писал «купечество богатеет и начинает селиться в палатах, покидаемых дворянством»), и Арбат профессорский, населенный преподавателями Московского университета – людьми, как правило, происхождения разночинного.

Двор с конюшней, каретным сараем – несомненно, пушкинский; совсем нетрудно вообразить, как барину Александру Сергеевичу подают экипаж:

– В Чернышевский, к Баратынскому!

Или к Волконским, на Тверскую.

В правом углу – дверь, та самая, в две эпохи. Идем в начало XIX века, в дом Хитрово. Здесь Александр Сергеевич снимал квартиру на втором этаже и прожил с февраля по май 1831-го. Петербуржец до мозга костей, судьбою великий поэт накрепко привязан к Первопрестольной: здесь свершились три важнейших события: рождение, встреча с императором в Кремле после освобождения из ссылки и, наконец, женитьба.

Москва умудрилась не сохранить дома, где родился поэт. Даже место его в Немецкой слободе, на Немецкой же улице (теперь Бауманской) определилось после долгих споров и разысканий по городским архивам сравнительно недавно, на нашей памяти. А в конце шестидесятых дом, где встречался Пушкин с Адамом Мицкевичем в Настасьинском переулке, не спасла от сноса и мемориальная доска. Правда, Москва поставила великий памятник в устье Тверского бульвара – непревзойденный

шедевр.

К счастью, дом на Арбате цел и невредим. Здесь Пушкин 17 февраля 1831 года, накануне свадьбы, устроил для друзей «мальчишник». Достаточно назвать их имена: Вяземский, Нащокин, Баратынский, Денис Давыдов, Языков, Иван Киреевский, Верстовский – каков список гостей!

На следующий день Пушкин привез сюда из церкви Большого Вознесения у Никитских ворот молодую жену, а через десять дней здесь был задан бал. По свидетельству А.Я.Булгакова, «ужин был славный; всем казалось странно, что у Пушкина, который жил все по трактирам, такое вдруг завелось хозяйство».

Дом-то сохранился, но ни одного предмета из той квартиры не осталось. Всегда в таких случаях невольно думаешь: а нужен ли такой музей? Для людей впечатлительных, каких, впрочем, немало, подлинные стены уже самоценны. Они способны создать главное – настроение. Здесь гений места в чистом виде.

Не осталось и никаких свидетельств, кроме воспоминаний десятилетнего в ту пору Павлуши Вяземского, которому, чтоб не путался у взрослых под ногами, всучили книжку сказок Кирши Даниловича, так что запомнились ему одни лиловые обои с цветочками. Мемориальные вещицы достались Петербургу. Может, это и справедливо: жизнь прошла в столице, Москву ее уроженец посещал наездами, а все ж досадно.

В некоторых комнатах воссозданы интерьеры пушкинской поры, стоит мебель той эпохи. Однако во всей квартире лишь два предмета из собственно пушкинской жизни: туалетный столик Натальи Николаевны и подлинная конторка поэта. Правда, и здесь приходится призывать в помощь фантазию: в рукописях поэта те четыре месяца не оставили следа – Пушкин в этой квартире не написал ни строчки. Сбылись его слова из письма Вяземскому в конце мая 1826 года: «Правда ли, что Баратынский женится? боюсь за его ум. Законная п…а – род теплой шапки с ушами. Голова вся в нее уходит». Не прошло и пяти лет – и голова самого Александра Сергеевича ушла «в теплую шапку с ушами». Здесь было не до стихов – в квартире на Арбате Пушкин пережил, наверное, самый счастливый период своей жизни, и одно это в наших глазах оправдывает существование музея.

Анфиладой комнат возвращаемся к холлу и за дверью с табличкой «Мемориальная квартира Андрея Белого» вступаем на лестницу, ведущую на третий этаж соседнего дома – дома Рахманова. И всего полстолетия прошло, но другая эпоха, другой и Арбат, где над старыми дворянскими особнячками возвышаются доходные дома. В них поселились шестидесятники – остепенившиеся Базаровы в той своей поре, когда вместе с

молодостью отлетел нигилистический «дух отрицанья», а победили, выстлав дорогу к профессорской кафедре Московского университета, препарированные лягушки.

«Этот район населен профессурой; куда нос ни сунешь – профессор… Очерчена, замкнута жизнь: тесновато! В арбатском районе томлюсь: сюда выжаты сливки Москвы или – целой России; и столкнуты и дверями и окнами здесь все традиции славные стаи славной. Казалось бы, радоваться!

А тяжелая грусть, безысходная грусть охватила меня, переходя просто в дикую мрачность; тринадцатилетним переживал я буддистом каким-то себя, а не отроком; мрачность перерождалася в бунт открывания “форточек”: в жизнь; у Николая Васильевича вырос сын декадентом; и сказка про серого козлика, от которого остались рожки да ножки, себя повторила: “жил-был Боренька”, пришел волк “белый”; и – “Бореньку” съел он», – писал Белый в книге «На рубеже двух столетий».

Круговорот: с отрицанья – теперь уже быта профессорского, его обрядов, ритуалов и штампов – начинает свой путь к символизму сын профессора математики Николая Васильевича Бугаева поэт Андрей Белый.

Музей, как театр с вешалки, начинается с лестницы. Сверху протянуты нити, а на них – портреты златокудрого мальчика Бори Бугаева, студента Бориса Бугаева, поэта Андрея Белого, его ближайших друзей – Александра Блока, Сергея Соловьева, Валерия Брюсова, листы рукописей. Странное ощущение стилистической уместности портрета в лестничном пролете: «Голубые глаза и горящая лобная кость». До чего ж точен Осип Мандельштам!

Квартира из пяти тесных комнат, назначение которых воспроизведено и сейчас: детская, где демонстрируется чудом сохранившийся пеленальный конверт младенца Бори Бугаева, кабинет Николая Васильевича, спальня родителей, столовая, гостиная…

В гостиной балконная дверь: «вечер: я – над Арбатом пустеющим, свесясь с балкона, слежу за прохожими; крыши уже остывают; а я ощущаю позыв: бормотать; вот к порогу балкона стол вынесен; на нем свеча и бумага; и я – бормочу; над Арбатом, с балкончика; после записываю набормотанное. Так – всю ночь; под зарею негаснущей», – вспоминал Белый историю рождения «Северной симфонии» в книге «Начало века».

В двадцать шесть лет Борис Николаевич навсегда покинет арбатскую квартиру… Нет, неправильно: она будет возникать как место действия в «Котике Летаеве», «Крещеном китайце», в трилогии «Москва»: «Московский чудак», «Москва под ударом»,

«Маски».

Центральный экспонат расположен в столовой – «Линия жизни»: начертанные цветными карандашами листы автобиографии Андрея Белого. Удивительный документ: никому из великих не приходило в голову оставить графический образ своей жизни. Но это не линейная ось времени, на которую нанесены координаты значимых событий, скорее – загадочная топографическая карта, путеводитель по судьбе. Темно-синяя петляющая синусоида, пестрый хаос переплетающихся линий, лабиринт стрелок, шифр надписей…

Из пояснительной записки Белого к «Линии жизни»: «Рельеф ее (высоты и низины) построен из пристального и реального осознания себя *ощущения* в данный период (подъем и упадок *энергии жизни*) *;* вместе с тем *снизу* отмечены те из людей, которые становились особенно близко в тот или иной период (или – дружба, или – борьба, или – работа вместе); *сверху я* попытался определить культурные влияния; *совсем внизу* : эпоха работы над тою или другой книгой».

Здесь отмечены и взлеты, и падения, редкие мгновенья счастья и катастрофы, и неизменно везде поражает глубина саморефлексии. Имена, обозначавшие вехи беспрерывного духовного труда: директор лучшей в Москве гимназии Лев Иванович Поливанов, Кант, Гёте, Шопенгауэр, Шекспир, Пушкин, Гоголь, Рудольф Штейнер, Лев Толстой, Владимир Соловьев… С последним состоялась единственная встреча и долгий, на три часа, разговор, тоже как особо важное событие, отмеченное в «Линии жизни».

И под листами автобиографии уже совершенно по-иному выглядит витрина с предметами повседневного быта писателя: портсигар, купленный на Смоленском рынке, о чем сообщено вдовой Клавдией Николаевной Бугаевой в записочке, лежащей рядом, две пары очков, камешки, собранные в Коктебеле, когда Андрей Белый гостил у Максимилиана Волошина… Но тут же – документы о репрессиях против членов антропософского общества, руководимого Андреем Белым с 1919 по 1924 год.

Напротив – витрина, очертаниями напоминающая Гетеанум в Дорнахе. Увлеченный антропософией, в 1913 году Белый вместе с первой своей женой Анной Алексеевной Тургеневой, Асей, на полтора года уехал к Учителю – Рудольфу Штейнеру и участвовал в качестве резчика по дереву в строительстве антропософского храма.

Возвращение Андрея Белого из эмиграции в 1923 году было отнюдь не триумфальным. В советской России его ждали гонения. Троцкий, тогда еще всесильный, торжественно объявил в

«Правде» о духовной смерти поэта. Жизнь Андрея Белого завершится неподалеку от Арбата – на Плющихе, и не в отдельной квартире, а в коммуналке в полуподвале.

Золотому блеску верил,
А умер от солнечных стрел.
Думой века измерил,
А жизнь прожить не сумел.

Даже диагноз – последствия солнечного удара – предсказал в стихотворении 1907 года.

Мы покидаем эту квартиру, где, кстати сказать, оказались единственными посетителями, в долгом молчании – надо как-то прочувствовать увиденное.

На улице невольно оглядываемся на полукруглый балкончик – не горит ли свеча?..

У Михаила Юрьевича

Все надо делать вовремя. Правило универсальное, но редко удается ему следовать. Впрочем, тут нам нечаянно повезло. Приди мы сюда через две-три недели, нас бы встретила табличка: «Музей закрыт на реставрацию до 2014 года». Так что мы, одни из последних, ступаем по подлинным ромбам паркета, поднимаемся по скрипучей лестнице. Этому дому почти двести лет. Точнее, тот, что стоял раньше на его месте, погиб как раз двести лет назад – в огне московского пожара 1812 года. И в арбатских переулках возникли «типовые новостройки» из альбомов Осипа Ивановича Бове, заведовавшего в ту пору «фасадической частью» московского строительного ведомства. Деревянный, девять окон смотрят на улицу. Мезонин небольшой, но это главное помещение в доме. Потому что именно там была комната пятнадцатилетнего Мишеля, Михаила Юрьевича Лермонтова, куда, по свидетельствам современников, не то что гостям, даже самой хозяйке – Елизавете Алексеевне Арсеньевой, бабушке поэта, ходу не было.

Он прожил здесь всего три года, но для позднего отрочества это не «всего», а «целых» три года. Вошел сюда подросток, а вышел автор семнадцати поэм, четырех драм и двухсот пятидесяти лирических стихотворений. Но это для школьного курса с его неизбежным упрощением: Лермонтов – великий поэт. Не говоря уж о том, что он, гениальный прозаик, был так щедро одарен талантами, что мог прославиться и как художник, и как музыкант. Но милости, дарованные природой, с неизбежностью требуют огранки. И потому музейные комнаты, прежде всего, оказались для нас памятником дворянскому аристократическому воспитанию.

Клавикорды и скрипка – инструменты, которыми Лермонтов

владел превосходно (а еще брал уроки игры на гитаре и флейте), – главное украшение большой гостиной. Повсюду развешаны рисунки – карандашом, пером, акварелью… Мог бы стать крупным живописцем или графиком, так тонко чувствовал и линию, и цвет. Только передать руку не удалось в автопортрете – очень уж неловко держит саблю. Но по понятиям сегодняшним – без пяти минут профессионал.

Всему этому – музыке, рисованию, трем иностранным языкам – он обязан домашним учителям и университетскому Благородному пансиону. Там юный Лермонтов еще отличился немалыми успехами в математике, что в нашем обывательском понимании мало совместимо с лирикой: однако на столе не только Шиллер, любимый Байрон (естественно, в подлиннике), пушкинские «Братья-разбойники», но и «Курс математики» Безу с подписью владельца. Стихосложению его обучал Алексей Федорович Мерзляков, автор стихотворения «Среди долины ровныя…», известного как народная песня. Дальний родственник Лермонтова М.Н.Лонгинов вспоминал, что, когда поэт ждал наказания за стихотворение «Смерть поэта», бабушка была в отчаянии и всё причитала: «И зачем я на беду свою еще брала Мерзлякова, чтобы учить Мишу литературе: вот до чего он довел его!» Знала бы она, какой удар готовит ей судьба всего через четыре года, когда ей выпадет оплакивать обожаемого внука…

На столе в малой гостиной – самодельный альбом: «Книга судеб». Она была дополнением к костюму астролога, в котором шестнадцатилетний Лермонтов явился на новогодний маскарад в Благородное собрание. «В этой книге должность кабалистических знаков исправляли китайские буквы, вырезанные мною из черной бумаги, срисованные в колоссальном виде с чайного ящика и вклеенные на каждой странице», – вспоминал троюродный брат Лермонтова Аким Шан-Гирей. Сотрудники музея пытались идентифицировать иероглифы, но дешифровке поддался только один, логичный на «чайном ящике», – «ложка».

В этой «Книге судеб» молодой Лермонтов, конечно же, не мог прозревать линию своей жизни, хотя слово «судьба» – одно из тех, что роковым образом так часто встречаются в его стихах… В наших мыслях о нем – тоже. Даже смерть Пушкина не так рвет сердце, как лермонтовская. Его убило отсутствие чувства юмора у Мартынова. Всего-то навсего!

Может быть, один из самых трогательных экспонатов музея – акварельный портрет отца, рисованный по памяти уже после его внезапной кончины. В предсмертном письме Юрий Петрович пророчески писал сыну: «Хотя ты еще в юных летах, но я вижу, что одарен способностями ума, не пренебрегай ими и всего более

страшись употреблять оные на что-либо вредное или бесполезное: это талант, в котором ты должен будешь дать отчет Богу!..» И как ответ – знаменитые строки семнадцатилетнего поэта:

Ужасная судьба отца и сына:

Жить розно и в разлуке умереть.

Известно, что в значительной мере личность формирует среда, в которой она развивается. Взгляд из сегодняшнего дня натыкается на парадокс:

Печально я гляжу на наше поколенье

Его грядущее иль пусто, иль темно…

Не хватило поэту, далеко в своем развитии опередившему сверстников, ни терпенья, ни самой жизни увидеть, сколь плодотворно это самое «наше поколенье»: Белинский, Гончаров, Герцен, Огарев, Станкевич, Грановский, Бакунин, рядышком Тургенев, за ним Достоевский… Да ведь и Гоголь всего лишь на пять лет старше. Они реализовались в разные годы и обрекли потомков дивиться историческому парадоксу: когда жизнь Лермонтова завершилась, его старшие собратья – те же Герцен и Гончаров – еще не начинались. И в нашем восприятии они ему вроде как и не современники.

Типичная обстановка московского дворянского дома – довольно скромная, соразмерная невысоким потолкам и небольшим комнатам мебель без особых украшений. Удобные кресла, кушетки, секретеры… По стенам – рисунки и, как положено, семейные портреты. В простенках большой гостиной – барельефы Федора Толстого на темы войны 1812 года.

Здесь хочется остаться жить. И как же странно, выйдя за ворота, уткнуться в зады Нового Арбата, о существовании которого успеваешь напрочь забыть. Примиряет разве что здание Дома книги – что ни говори, очаг культуры.

У Николая Васильевича

Самое живое здесь – посмертная маска Гоголя. И это не вымученный парадокс. Увы, так оно и есть.

Редкая, редчайшая удача для музейщика: не только стены подлинные, а самое главное – камин, тот камин, который мистическим образом много лет удерживал нас от того, чтобы войти в дверь, мимо которой проходили сотни раз к «Арбатскому» метро, непременно оглядываясь на гениальный андреевский памятник. Камин, в котором погиб второй том «Мертвых душ»!

Так мы туда и не зашли, а потому не ведаем, каким был музей до реконструкции. Но случившийся двухсотлетний юбилей Николая Васильевича вызвал к жизни финансирование, плодами которого мы и давились, переступив наконец этот порог.

Самое честное, без претензии на подлинность, что есть в этом

музее, – последний зал, где расставлены мониторы, с помощью которых можно увидеть на экране и эпизоды биографии Гоголя, и гоголевские места Москвы, и портреты его современников. Вспомнилось, как довольно давно изумили нас подобные мониторы в Эрмитаже, где дети в упоении собирали паззлы картин Рембрандта. Ну и на здоровье. И пусть бы в иных городах, где нет свидетельств жизни гения, напоминали о нем такие залы…

Но зачем покушаться на то, что хранит живую память, как принято писать в музейных буклетах… Опять-таки, понимаем, что экспозиция пронизана сквозной идеей. Читаем в путеводителе: «В каждом из помещений внимание привлекает ведущий предмет. Он превращен в символическую инсталляцию и выражает акцент комнаты. В прихожей это «сундук странствий», в гостиной – камин, в кабинете – конторка…»

Пытаемся подчиниться этой логике и присоединяемся к экскурсии.

Акценты действительно расставляют. А чтобы усилить таковые, за гардинами спрятана «волшебная», как сказал экскурсовод, кнопочка. Нажал – и с помощью реостата притушивается свет, а над головой изумленного посетителя начинает звучать топот копыт, чьи-то отдаленные голоса… Эдакий символ странствий. И фальшь разлилась по всему залу.

Это еще цветочки. Конторка, за которой писались гоголевские шедевры, превращена фантазией оформителя в «алтарь творчества», что и засвидетельствовано в пояснении. Она обрамлена плексигласовыми стенками в форме золотистых ангельских крыльев. Вообще пластик – главенствующий материал дизайна. И при всей нашей нелюбви к любой синтетике здесь она вписывается в концепцию. Более того, искусственность, суррогатность тут, как ни странно, органичны, они демонстрируют не только временной – сущностный разрыв с миром Гоголя.

Но камин…

Оргстекло и здесь отгородило нас от мраморного холода рамы, в которой скрючиваются, чернеют, иногда вспыхивая, листы поэмы. Не стоит, полагаем, и упоминать о том, что по мановению кнопочки в камине имитируются языки пламени – это лежит на поверхности. А вот сменяющие один другой портреты на экране над каминными часами с навсегда застывшими на трех ночи стрелками – апофеоз экспозиции. Это лица тех, кто мог мелькнуть перед мысленным взором творца, предающего огню свое творение. В ряд друзей Гоголя затесался Данте Алигьери в лавровом венке, что, вероятно, долженствует подчеркнуть грозное

величие момента.

Честно говоря, хочется немедленно уйти. Но есть еще комната, где, повернувшись лицом к стене, умирал сорокадвухлетний, молодой, по нынешним понятиям, Гоголь. Нет нужды говорить, что диван, на котором он скончался, отгорожен прозрачной пластиковой ширмой. Но тут является посмертная маска, которая, как это ни дико, наконец-то возвращает чувство прикосновения к живому гению…

Назовите нас замшелыми ретроградами, застрявшими в глубоком прошлом, чуждыми современному видению прекрасного, но есть нечто вечное, непреходящее, и оно зовется – вкус, антиподом чего во все века была и будет пошлость.

Это непреходящее останавливает нас во дворе. Сосланный сюда с бульвара «за пессимизм и мрачность» шедевр скульптора Н.А.Андреева возвращает нас в реальность – ту, где живут его тексты, к которым нас влечет разбуженная раздражением тоска по ним.

А экспозиция музея вдохновлена совсем другим памятником – занудный нравоучитель с книжкой и соответствующая образу надпись на постаменте: «Великому русскому художнику слова Николаю Васильевичу Гоголю от правительства Советского Союза» в устье бульвара, названного его именем. Он хоть и отлит из натуральной бронзы, а по сути своей такой же – плексигласовый.

И мы бредем прочь, «сюда я больше не ездок», как сказал другой классик, но мы, к счастью, знаем, где «оскорбленному есть чувству уголок». Стоит только открыть книгу и прочитать: «В ворота гостиницы губернского города NN въехала довольно красивая рессорная небольшая бричка, в какой ездят холостяки: отставные подполковники, штабс-капитаны, помещики, имеющие около сотни душ крестьян, словом, все те, которых называют господами средней руки. В бричке сидел господин…»

У Ивана Сергеевича

Дом этот на Остоженке знаком с детства. В Москве мало осталось деревянных неоштукатуренных особняков, да еще с садом. И нужно некоторое усилие, чтобы увидеть: подобными усадьбами была застроена вся дворянская часть города – от правого берега Москвы до правого берега Яузы. А теперь он – один из немногих, уцелевших в нашей столице после бурь XX века. К тому же дом отмечен мемориальной доской, сообщающей о том, что здесь жил Иван Сергеевич Тургенев, и городская легенда из поколения в поколение утверждает, что именно в этом особняке происходило действие хрестоматийной повести «Муму».

И вот первая странность: оказывается, музей здесь открылся

только в 2009 году, а до того особняк занимали то коммунальные квартиры, то конторы, столь далекие от литературы, что под угрозой была его судьба: у нас любят перестраивать под сиюминутные нужды. Последним в доме Тургенева обитало Главное управление по производству спортивных изделий Спорткомитета СССР (в постсоветские времена – ЗАО «Спортинтерпром»). По счастью, это ведомство весьма трепетно отнеслось к памятнику отечественной культуры и в целом сберегло его от всякого рода новшеств, разместив конференц-зал и подсобные помещения в подвале.

Варвара Петровна Тургенева (урожденная Лутовинова), поселившись здесь в 1840 году, мечтала, чтобы сын ее Ванечка чувствовал себя полноценным хозяином дома на Остоженке. В письмах она рисовала планы, подробно излагала предназначение каждой из комнат: «У меня прекрасный маленький московский дом… в котором всегда воздух ровен, тепло, светло, сухо, покойно. Лакейская, официантская, зала, гостиная, спальня вместе мой кабинет, уборная, гардеробная, девичья – и бибишкина комната, – пишет она сыну в Берлин. – О! Приезжай только, мы отопрем дверь от брата в девичью – девок и гувернанток сведем вместе, а комнаты гувернанток мы отдадим все три тебе, хозяину. Теперь пойдем в конюшню. У меня 5 серых лошадей в карету, две лошади в сани брату и дяде, пока и довольно… Корова – большая, славная – наконец корова. И Серебряков – давнишние мои требования-потребности – корова и конторщик».

Для нас, переживших всю вторую половину XX века и уже давно въехавших в век XXI – корова на Остоженке, что ни говори, явление весьма экзотическое. Где она паслась? На Комсомольском проспекте?

Сотрудники музея, слава Богу, не стали воспроизводить по указаниям Варвары Петровны назначения комнат – гостиной, столовой или спальни. Соблазн был велик, но, к счастью, музейщики не пошли по столь легкому пути. При отсутствии собственно тургеневских вещей это с неизбежностью отдавало бы претензией.

Анфилада комнат представляет собой цепь выставочных залов: витрины с прижизненными изданиями Тургенева, гравюры и акварели с видами Москвы, Орла, Петербурга, Парижа и других городов, где бывал писатель, театральные афиши. Единственный автограф Ивана Сергеевича – записочка его рукой по-французски бельгийскому музыканту Юберу Леонару. Однако более сильное эмоциональное впечатление производит голубой прямоугольник: «Билет для входа на обед в день открытия памятника Пушкину 4

июня 1880 года в зале Благородного Собрания, в 6 час. по полудни». Хотя этот билет напечатан типографским способом, от него веет подлинностью, которую усиливают чернильная клякса и строчка в пояснении «орешковые чернила». Иван Сергеевич писал: «Пушкин был в ту эпоху для меня, как и для многих моих сверстников, чем-то вроде полубога».

Вдоль стен – мебель сороковых-пятидесятых годов XIX столетия, характерная для особняков на Остоженке и Пречистенке. Ширмы и столики, кресла и диванчики, зеркала, обстановка спальни не ставят задачи реконструкции, а скорее служат фоном, помогая почувствовать атмосферу дома. Но странным образом эффект присутствия возник при случайном взгляде в окно: сквозь переплет рам наискосок показался край колонны, и сразу главный экспонат – сам дом – оправдал существование музея, как бы простил утрату тургеневских семейных реликвий…

Литературный критик Алексей Галахов вспоминал: «На обеды к Тургеневу приглашались московские профессоры и литераторы, принадлежавшие к так называемой европейской партии (Грановский, Кудрявцев, Забелин, Боткин, Феоктистов и др.), хотя он был в дружеских отношениях с некоторыми членами славянофильского кружка, особенно с С.Т.Аксаковым. Из артистов почти постоянно являлись Щепкин, Садовский и Шумский и какой-то немец, может быть, подлинник Лемма (в «Дворянском гнезде»), мастерски игравший на фортепьяно. Иногда после обеда устраивался небольшой хор под управлением Шумского, и гости, обладавшие голосом, исполняли тот или другой хор из какой-нибудь оперы, преимущественно из «Аскольдовой могилы». А иногда Садовский морил со смеха вымышленными рассказами… Одним словом, все было светло, радостно, дружелюбно, хотя по временам не обходилось и без споров, на которые москвичи были очень падки».

Портреты современников, гостей Ивана Сергеевича украшают стены залов. Имена производят впечатление. Но это на нас, отнюдь не на хозяйку дома, которая писала своей подруге не без раздражения: «Ваничке моему полегче стало, и он захотел видеть ученых обезьян, а как ты знаешь, что при пире, при бражке друзей набирается всегда много, то у меня был раут».

Крутой, деспотичный характер барыни не мог не привести к конфликту с сыновьями, завершившемуся в 1850 году полным разрывом. Вскоре, 16 (28) ноября, Варвара Петровна скончалась в этом доме на Остоженке. Нрав ее проявился даже в последней воле: «Накануне смерти, когда уже начиналось хрипение агонии, – писал Иван Сергеевич Полине Виардо, – в соседней

комнате по ее распоряжению оркестр играл польки». Ивану Сергеевичу пришлось нарушить клятву – никогда здесь не появляться – и прожить добрых два месяца, управляясь с делами по наследству.

Вообще за десять с лишним лет – с 1840 по 1851 год – Тургенев провел в этом доме в общей сложности не больше года. Кстати, останавливался он в мезонине, куда сейчас посетителей не пускают.

Последняя комната в анфиладе посвящена повести «Муму». Мы сразу подумали, сколько залов могло бы быть в разных музеях отдано «литературным» собакам: Белый Бим Черное Ухо, собака Баскервилей, верный Руслан, Каштанка, Артемон, Моська из крыловской басни, безымянный персонаж толстовского рассказа «Лев и собачка» и еще много-много больших и маленьких, с родословной и без таковой.

В Доме Тургенева собрано множество иллюстраций к его хрестоматийному произведению, написанному в 1852 году, когда автор сидел под арестом за крамольный некролог Н.В.Гоголю. Иные из картинок свидетельствуют о невнимательном чтении: здесь вы найдете изображения самых разных пород охотничьих собак и даже дворняжек. Странно, но любимый вопрос литературных викторин: «Какой породы была Муму?» здесь не находит ответа, хотя у Тургенева ясно сказано: «она… благодаря неусыпным попечениям своего спасителя, превратилась в очень ладную собачку испанской породы», то есть – спаниеля.

Мы где-то читали, что в этой комнате была еще скульптура собаки неизвестной породы с грустными глазами и русалочьим хвостом, очень выразительная, около которой всегда задерживались посетители. Но, увы, ее мы не застали. «Автор забрал», – пояснила смотрительница зала…

У Льва Николаевича

В Москве на Пречистенке работает Государственный музей Толстого – строгое, научное учреждение, есть еще «школа Толстого» на Пятницкой улице, а здесь, в Хамовниках, – просто дом, стараниями Софьи Андреевны дошедший до нас практически в первозданном виде и ставший музеем уже в 1921 году.

Весьма скромных размеров, с низким потолком, но светлая, с несколькими окнами в сад – «Кабинет Льва Толстого» – одна из самых маленьких комнат в доме. Главное здесь – так знакомый по картине Н.Н.Ге письменный стол с балюстрадой по три его стороны. Это единственное место в доме, где царствует литература. Но именно сюда мы попадаем в последнюю очередь. Такова логика осмотра музея – тупичок на втором этаже. Впрочем, такова и логика жизни в этом доме: здесь самое, если не

единственное, тихое место. Только сюда не проникают ни хохот детей, с грохотом съезжающих на жестяных подносах с лестницы, ни перебранка прислуги – суета каждодневного бытия огромной семьи остается внизу. Соседствуют с кабинетом мастерская, где граф тачал сапоги, каморка верного камердинера Ильи, комната Марьи Львовны – самой близкой отцу – и в соответствии со взглядами – убранной чрезвычайно скромно. Но основное пространство этажа занимают парадные залы, наполняющиеся гомоном голосов, звуками музыки и звоном чашек у самовара лишь в те часы, когда работа на сегодня завершена. Рояль в гостиной предназначен не только для обучения музыке графских детей – за ним сиживали Н.А.Римский-Корсаков, С.И.Танеев, С.В.Рахманинов, А.Н.Скрябин, А.Б.Гольденвейзер.

У самовара по четвергам, а потом по субботам собирались гости – художники И.Е.Репин, В.А.Серов, Н.Н.Ге, А.М.Васнецов, В.Д.Поленов и, конечно, писатели – А.Н.Островский, Д.В.Григорович, Н.С.Лесков, В.М.Гаршин, А.П.Чехов, В.Г.Короленко, И.А.Бунин, Максим Горький. И возник кощунственный соблазн: положить на деревянный поднос в лапах медвежонка свои визитные карточки…

Лев Николаевич прожил в Хамовниках девятнадцать лет, точнее, зим, потому что летом семья перебиралась в Ясную Поляну. Но Толстой не был городским жителем, и лишь слово, данное Софье Андреевне, и забота о хорошем образовании для детей вынудили его стать москвичом. Поселился он не в типичном для того времени доме-особняке, а в усадьбе, купленной летом 1882 года у коллежского секретаря И.А.Арнаутова. «У сада» – ключевое слово. Сад для столичного города большой – целый гектар. Там много цветов, яблоневая аллея и нарядные каждой осенью клены, ясени, березы. Была даже насыпная горка, откуда зимой съезжали на санках. А еще заливали перед домом каток, где любили кататься на коньках не только дети, но и взрослые.

О перестройках и обстановке дома Лев Николаевич хлопотал сам. Свои переживания по поводу обустройства дома, не утратившие свежести, Толстой с известной долей самоиронии отдал герою здесь, в Хамовниках, написанной повести «Смерть Ивана Ильича»: «Засыпая, он представлял себе залу, какою она будет. Глядя на гостиную, еще не оконченную, он уже видел камин, экран, этажерку и эти стульчики, разбросанные, эти блюды и тарелки по стенам и бронзы, когда они все станут по местам. Его радовала мысль, как он поразит Пашу и Лизаньку, которые тоже имеют к этому вкус». И далее: «Когда он встретил своих на станции железной дороги, привез их в свою освещенную

готовую квартиру и лакей в белом галстуке отпер дверь в убранную цветами переднюю, а потом они вошли в кабинет и ахали от удовольствия, – он был очень счастлив, водил их везде, впивал в себя их похвалы и сиял от удовольствия».

Сравним:

«Мы приехали в Арнаутовку вечером. Подъезд был освещен, зала тоже. Обед был накрыт, и на столе фрукты в вазе. Вообще… видно, что папа́ все обдумал и старался все устроить как можно лучше, чего он вполне достиг». Это из воспоминаний дочери Толстого Татьяны Львовны о дне 8 октября 1882 года, когда семья Толстого наконец переехала в московскую усадьбу.

«Смерть Ивана Ильича», может быть, самое смелое по замыслу и исполнению сочинение Толстого. Вопрос: «А что, как и в самом деле вся моя жизнь, сознательная жизнь была “не то”?», терзающий героя перед лицом смерти, по сути, и есть главный, мучительный вопрос для самого писателя.

Как известно, к художественным произведениям своим Толстой относился (вернее, по нашему убеждению, пытался относиться) как к чему-то побочному, второстепенному: «Хочется писать другое, но чувствую, что должен работать над этим… Если кончу, то в награду займусь тем, что начато и хочется». Антагонизм «должен» и «хочется» явлен здесь со всей очевидностью. По разряду «должен» писались статьи «В чем моя вера?», «Так что же нам делать?», «О жизни», «Царство Божие внутри вас»… «В награду» же здесь, в хамовническом доме, были созданы, в частности, «Воскресение», «Крейцерова соната», «Отец Сергий» и «Смерть Ивана Ильича».

В нашем привычном представлении Лев Толстой – или тот, что на портрете Ге: великий писатель за работой, – или босой старик в посконной рубахе, подвязанной ремешком, а то и простою веревкой. Огромный, в шестнадцать комнат, особняк слегка посмеивается над опрощением своего хозяина – крестьянствующего графа. Впрочем, дом – жилище многодетной семьи: семеро сыновей и дочерей от двух до восемнадцати лет. Еще два мальчика родились здесь, но умерли маленькими. В 1884-м появилась на свет Александра Львовна, прожившая дольше всех детей Толстого, до 1979 года. А ведь кроме детей – гувернеры, экономка Дуняша, портниха, кухарки, десять человек прислуги в доме и флигелях. Большое хозяйство: каретный сарай с конюшней, даже корова… Один из флигелей украшает вывеска «Контора издания», где жил со своей семьей конторщик, помогавший Софье Андреевне, как известно, не по одному разу переписывавшей набело сочинения мужа, в их выпуске в свет.

Семья великого человека в своих ежедневных проявлениях

ничем не отличается от любой другой: младенцы плачут, дети ссорятся из-за деревянной лошадки, учителя бранятся за невыученные уроки, домашняя портниха пришивает бесчисленные пуговицы, старшие принимают в гостях соучеников, звенят чашки и блюдца в буфетной…

И во главе этого сложного механизма – Софья Андреевна. Обустраивая дом, Лев Николаевич писал жене в Ясную Поляну: «За дом я что-то робею перед тобой. Пожалуйста, не будь строга». А вот о чем пеклась Софья Андреевна: «…гению надо создать мирную, веселую, удобную обстановку, гения надо накормить, умыть, одеть, надо переписать его произведения бессчетное число раз, надо его любить, не дать поводов к ревности, чтоб он был спокоен, надо вскормить и воспитать бесчисленных детей, которых гений родит, но с которыми ему возиться и скучно, и нет времени». Жена писателя – это профессия, и профессия тяжелая.

Великий человек притягивает обаянием своего творчества, но не стоит обольщаться. Неуют от близости со Львом Николаевичем точно описал М.Горький: «Удивляться ему – никогда не устаешь, но все-таки трудно видеть его часто, и я бы не мог жить с ним в одном доме, не говорю уже – в одной комнате. Это – как в пустыне, где всё сожжено солнцем, а само солнце тоже догорает, угрожая бесконечной темной ночью».

Уже в который раз замечаем, что очень часто в домах-музеях живое чувство возникает вовсе не там, где предполагалось. Так и сейчас. Не в кабинете, не возле письменного стола, за которым создавались шедевры, а в столовой, у стола обеденного, образ Толстого увиделся ярче всего. Одна мелкая деталь: около его тарелки стоит стакан для воды. И кажется, что вот-вот пробьет шесть часов, войдет Лев Николаевич, сядет на свое место, а Софья Андреевна начнет разливать суп из сине-белых супниц, одна из них – меньшая – вегетарианская.

И еще. Смотрительница, с явным любопытством прислушивавшаяся к нашему разговору, вдруг сказала: «Знаете, тут во время ремонта случилась беда: разбилась вон та зеленая лампа, любимая графа. Посчитали – 165 мелких осколков. И представляете – вот чудо техники: так склеили, что ни трещинки не видно».

Нет и не может быть такой техники, чтобы воскресить ушедшую отсюда жизнь.

Зато есть сила воображения…

У Антона Павловича

Дом этот на Садовой-Кудринской узнается по прозвищу, которое дал ему самый известный обитатель: «Живу в Кудрине, – сообщал А.П.Чехов в одном из писем, – против 4-й гимназии, в доме

Корнеева, похожем на комод. Цвет дома либеральный, т. е. красный». Дверь с табличкой «Доктор А.П.Чехов» заперта – вход в музей расположен в пристройке с крылечком. Быстро минуем первый зал с видами Москвы и книгами на витринах (впрочем, два экспоната задерживают наше внимание: свидетельство об окончании медицинского факультета Московского университета, подписанное Н.В.Склифосовским, и карманный «Календарь врача» за 1884 год: в точности такой же, но за 1881-й хранится в нашем домашнем архиве) и оказываемся в прихожей, у той самой запертой двери, только изнутри. Вот теперь-то легко представить себя гостем этого дома: пациентом доктора, курьером редакции «Русских ведомостей», литератором или художником, другом брата Николая. Маленький столик, на нем – поднос для визитных карточек, которые гости оставляли, разминувшись с хозяином дома. Первым бросился в глаза прямоугольничек:

…

Архитектор
Франц Осипович
ШЕХТЕЛЬ

Конечно, Чехову лучше было б жить не в «красном комоде», а в особняке работы Шехтеля, тут какая-то трудноуловимая, но очень прочная связь. Впрочем, в шехтелевском здании живут пьесы Антона Павловича, а чайка, будто в соавторстве созданная, – эмблема театра в Камергерском переулке. Как ни дико звучит на неопытный слух, но Чехов, несомненно, принадлежит русскому модерну.

Прихожая ведет прямо в кабинет – просторную проходную комнату. В те времена о коммунальном быте представления не имели, и квартиры строились так, что почти все комнаты были проходными. Для кабинета врача неудобнее не придумаешь, да и писателю каково: сосредоточишься ли тут?

Здесь главенствуют два предмета: письменный стол и докторский баульчик с инструментами. На письменном столе, в отличие от многих музеев, нет копий авторских рукописей. Он чист, прибран и украшен двумя портретами – Чайковского и Левитана… О дружбе с Левитаном написаны десятки статей и книг, Чайковский, к которому с трепетом почитателя относился хозяин дома, удивил своим внезапным визитом. Еще бы не удивиться! К писателю, только-только расставшемуся с юношеским псевдонимом Антоша Чехонте, вдруг входит сам Петр

Ильич!

Но царствует на столе, конечно, чернильница с бронзовым конем – подарок пациентки, которой доктор Чехов прописал лекарство и сам же его купил: у бедной женщины тогда не было денег. Ничего нарочитого, искусственного. Но вот эта чистота, порядок на столе убеждают в подлинности больше, чем любой наглядный экспонат: садись и пиши, всё приготовлено. Это вам не «алтарь творчества», возведенный плексигласовыми стенками вокруг гоголевской конторки. Это, скорее, по-цветаевски:

Мой письменный верный стол!
Спасибо за то, что ствол
Отдав мне, чтоб стать – столом,
Остался – живым стволом!

Еще бы не быть живым, если невидимые следы на нем оставили отпечатки пера, выводившего на чистом листе «Спать хочется», «Ванька», «Степь»… Три тома из двенадцати на нашей книжной полке составляют рассказы и повести, написанные за этим столом. За ним и состоялось преображение Антоши Чехонте в Антона Павловича Чехова. Есть два русских писателя, чьи имена без отчеств как бы хромают: Василий Андреевич Жуковский и Антон Павлович Чехов. Тут какая-то тайна поэзии в звучании имен. Не разгадана до сих пор.

Живописные работы старшего брата Николая Павловича, пианино, на котором он играл Шестую прелюдию Шопена – свою любимую, рукодельные салфеточки – все очень скромно: обстановка русской семьи среднего достатка и высоких духовных запросов, вовсе не нуждающихся в предметах роскоши.

Комната младшего брата Михаила, тогда студента юридического факультета, воссоздана по его рисунку, на котором сохранилось пояснение Антона Павловича: «Кабинет будущего министра юстиции», а светелка Марии Павловны с уютным эркером сохранила обаяние живого человеческого жилья.

К двадцати шести годам писатель заработал на аренду двухэтажного дома. А выбился из лавочников, ведь в гимназические годы стоял в Таганроге за прилавком, заворачивая в кулек полфунта дешевых карамелей или ломкого печенья. Тут два типичных исхода: одни, не выдерживая стремительного подъема ввысь по социальной лестнице, сходят с ума или спиваются, другие ломаются в испытании медными трубами, становясь чванливыми и самовлюбленными. Чехов – по капле выдавливал из себя раба: без этой физической боли и повседневного труда, результатами которого никогда не

останешься доволен, не станешь свободным. А на каторжный остров Сахалин выехал из Кудрина человек абсолютно свободный.

Оно конечно, сам жанр «дом-музей» подразумевает экспозицию, рассказывающую о годах, именно здесь проведенных. Но чеховский «дом-комод» органично перетекает из «музейной» части, повествующей о начале пути, в жилые комнаты, а затем опять в залы с экспозициями, посвященными Сахалину, последним годам и Чехову-драматургу. Очень тонко, легкими намеками в силуэтах дверных коробок, витрин, багете, обрамляющем фотографии, возникают изящные, плавные, одному модерну присущие линии.

Антон Павлович жил в этом доме с 1886 по 1890 год, т. е. еще в позапрошлом веке. В XX заглянул краешком короткой жизни – всего три с половиной года. Но вот что интересно. Вероятно, не без умысла соседствуют две фотографии: Чехов и Лев Толстой и Чехов и Максим Горький, сделанные почти в одно и то же время. В нашем сознании Толстой – безусловно XIX век, а Горький столь же бесспорно век XX. И, стоя перед ними, вдруг понимаешь, насколько в творчестве Чехова, вроде бы не нацеленном намеренно на социальность, все говорит о переломе, все преисполнено тревоги, предчувствия будущих катастроф под звуки пошленькой мелодии «Та-ра-ра-бумбия, сижу на тумбе я».

И приходит на ум многажды цитированная – но не станем удерживаться – чеховская формула из рассказа «Студент»: «Прошлое, – думал он, – связано с настоящим непрерывной цепью событий, вытекавших одно из другого. И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой».

У Алексея Максимовича

– Предлагаю тост за хозяина дома!

Со своего места поднимается Алексей Максимович:

– Я здесь не хозяин! Хозяин – Моссовет.

К возвращению из эмиграции Горькому приготовлена золотая клетка: особняк Рябушинского на Малой Никитской, построенный по проекту Франца (Федора) Осиповича Шехтеля. Не Алексей Максимович выбирал себе приют, не он обставлял его мебелью, более того, тут все до мельчайших деталей противоречит склонностям подневольного обитателя. Трудно было найти в Москве жилище, настолько далекое от его натуры.

Здесь, как на Арбате: одна дверь ведет в два разных музея.

Так что, подходя к этому зданию, еще не знаешь толком, к кому, собственно, идешь: к великому архитектору или к первому председателю Союза писателей СССР.

Особняк Рябушинского – пожалуй, самый выдающийся образец архитектуры всего течения, известного как «московский модерн». Его причудливая кованая ограда, мозаичный фриз с лиловыми орхидеями еще на подступах к дому рождают атмосферу некой зыбкости и тревоги.

К моменту вселения «буревестника революции» особняк уже был изрядно потрепан катаклизмами, обрушившимися на него после октябрьского переворота. Для почетного квартиранта дом пришлось освободить от нескольких обосновавшихся там советских учреждений, уже начавших пробивать новые двери и Бог весть чего сумевших бы натворить. Так что, быть может, для здания это было счастливым решением. Но никак не для Алексея Максимовича, который так и не смог ощутить его своим, хотя признавал, что в нем «работать можно».

Шехтелевский шедевр полон зашифрованных смыслов, символических намеков. Весь он – от витражей и ажурных оконных переплетов до резных деревянных панелей, от струящейся лепнины потолка до изысканных светильников, от причудливого рисунка паркета до затейливых дверных ручек и шпингалетов – настроен на каждодневное, пристальное разглядывание и разгадывание.

Горький называл дом «нелепым», однако вынужден был как-то приспособить его для жизни. Ни о какой гармонии здесь не могло быть и речи. Сюда вселили человека, глубоко враждебного эстетике здания.

Весьма характерно, что именно внес в продуманный до мельчайших деталей интерьер новый жилец. Это сорок четыре книжных шкафа, построенных по чертежам Горького, – безликих, чисто функциональных, призванных вместить его огромную, в десять тысяч томов, библиотеку. И пусть комнаты, отведенной для книг, не хватило, и шкафы не только вылезли в вестибюль, но и поползли вдоль стен потрясающей – эстонского вазелемского мрамора – парадной лестницы, заслонив ни много ни мало гениальные витражи. Зато двадцать шесть тематических разделов, из которых состоит библиотека Алексея Максимовича, удалось разместить согласно воле хозяина. А ведь лестница – стержень, на который нанизано всё пространство дома, выстроенное вокруг ее спирали.

Вообще-то в Москве есть еще один музей Горького – на Поварской в здании Института мировой литературы. Библиотека была бы уместнее там. Но это наши соображения дилетантов, может быть, музейщики сочтут его крамольным.

И еще один предмет мебели – самый важный для писателя – письменный стол был изготовлен по заказу Алексея

Максимовича: без ящиков, больше похожий на обеденный, и на десять сантиметров выше обычного, ему по росту. На этом столе стоит статуэтка из обширной горьковской восточной коллекции. Три обезьянки: одна закрывает лапками (хочется сказать, руками) глаза, другая – уши, а третья – рот. Это аллегория, точно отражающая уклад жизни дома: «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу». А не замечать и скрывать было что.

Загромоздила дом и тяжелая казенная мебель – кожаные кресла и диваны, дико контрастирующие с волнообразными, текучими линиями лепнины на потолках, рисунком паркета, со всеми неистребленными шехтелевскими штучками.

Странное дело, ярчайший деятель начала XX столетия никак не связывается в нашем представлении с Серебряным веком, русским модерном. Горький оставил несколько статей, прямо указывающих на его принципиальное неприятие искусства модерна, он учинил разгром знаменитой «Принцессе Грезе» М.Врубеля, ему вообще претил русский декаданс. Даже его имя, присвоенное МХАТу, всегда казалось навязанным, чуждым облику и интерьерам здания в Камергерском проезде. Понятие «современник» вовсе не означает согласного со своим временем. Художник, такова его судьба, редко совпадает со вкусами и пристрастиями эпохи, то опережая, то, наоборот, ретроградствуя.

Нет места Алексею Максимовичу Пешкову с его жестоким детством и каторжными университетами, его сжил со свету «великий пролетарский писатель, основоположник социалистического реализма, председатель Союза писателей СССР». Да и Максиму Горькому места не так уж много. Замысел создателя дома никак не соответствует ни характеру, ни привычкам обитателя, разрывая и без того непростую духовную организацию писателя.

В этом доме можно принимать делегации одуревших от робости и затравленно озирающихся на буржуйские прихотливые завитушки шахтеров и колхозников-передовиков, пионеров, кремлевских гостей – Сталина, Жданова, Калинина и Ворошилова, собратьев-писателей, тщательно профильтрованных бдительным секретарем Пе Пе Крю – Петром Петровичем Крючковым, надзирающим заодно и за самим классиком по заданию НКВД. Отсюда можно отправиться на белом пароходе по Беломоро-Балтийскому каналу, до слез умиляясь, как «черти драповые» чекисты перевоспитывают социалистическим трудом контрреволюционеров и вредителей. Как печально сострил сам Алексей Максимович, «я не лицо, а целое учреждение». Кстати, в этом особняке и учреждался Союз писателей, здесь во главе с

Горьким работало его Оргбюро. А вот писать в этой удушающей атмосфере как-то не получается. Слишком уж мягки диваны, в них погружаешься как в невесомость, отрываешься от земной тверди. Только изрекать: «Если враг не сдается, его уничтожают» или «Расстояние от хулиганства до фашизма короче воробьиного носа».

Москва – город большой и, главное, эклектичный. Как в годы ее экономического расцвета говаривали купцы, «денег хватит на все стили». А еще жили-доживали дворянские особняки, уютные мещанские… Но для вернувшегося из эмиграции «первого пролетарского писателя», «буревестника революции», было выбрано здание, решительно враждебное его вкусам. Знал ли об этом кремлевский Управдом? Конечно, знал. Смеем догадываться, что помещение выбрано преднамеренно, это входило в программу укрощения классика. Он и не должен был чувствовать себя *дома* , упираясь взглядом в причудливые завитки дверных ручек или декадентские изломы витражей.

У Марины Ивановны

Этот музей по праву называется «культурный центр». Здесь бесценные фонды, преданные своему делу сотрудники и незаученными словами рассказывающие экскурсоводы, самый лучший из виденных нами музейный сайт. Нас очень многое связывает с домом в Борисоглебском переулке. Не счесть, сколько раз бывали в его зале, сами проводили там литературные вечера.

Но сейчас не об этом. Сегодня мы, не задерживаясь, проходим прямо к лестнице наверх. Мы ведь – в гости.

Прийти сюда запросто по стечению обстоятельств и «скрещенью судеб» у каждого из нас есть особые, личные основания.

Художник Леонид Евгеньевич Фейнберг оставил воспоминания «Три лета в гостях у Максимилиана Волошина», где описывает коктебельские встречи с Мариной Цветаевой и Сергеем Эфроном в 1911 – 1913 годах, и множество уникальных, теперь классических фотографий Макса, сестер Цветаевых, всего коктебельского мирка: «Лето 1911 года. Только одно лето, когда у меня был с собой мой дешевый фотоаппарат «Дельта», хорошо снимавший, хотя объектив был даже не «апланат», а простой ландшафтный». Для Елены Холмогоровой Л.Е.Фейнберг был по-домашнему Дюдя, поскольку приходился ей родным дедом.

А в семейном архиве Михаила Холмогорова хранились фотографии Андрея Цветаева (теперь находящиеся в фондах музея) – выпускника 7-й Московской гимназии имени императора Александра III, сделанные его одноклассником и дядей Михаила – Александром Сергеевичем Холмогоровым.

Здание, где располагалась гимназия, – легендарный «дом Фамусова», за который так боролась московская общественность, сожгли ночью 1967 года по устному приказу тогдашнего градоначальника Гришина. Дом в Борисоглебском чуть не постигла та же участь. К 1979 году уже выселили жильцов, кроме одного человека: Надежда Ивановна Катаева-Лыткина категорически отказалась покинуть «дом Марины». Она подняла на ноги писателей, художников, на защиту особняка встали многие москвичи. Свою роль в спасении здания от сноса сыграл академик Дмитрий Сергеевич Лихачев.

Не считая отчего дома в Трехпрудном *(«душа моей души»),* этот был самым долгим приютом Марины Ивановны Цветаевой. В его поисках она изъездила чуть ли не пол-Москвы. Выбрала за сумасшедшую планировку – трехуровневая квартира с чердаком *(«Это сборище комнат, это не квартира совсем!», «Кто здесь мог жить? Только я!»).*

Она вошла сюда в сентябре 1914 года хозяйкой: обустраивала, обставляла мебелью по своему вкусу. Во всем благополучие: дочь профессора, совсем недавно, два года назад, воплотившего в жизнь многолетнюю мечту – создать в Москве музей изящных искусств, жена талантливого студента-филолога, автор трех книжек стихов, ее поэзию с восторгом принимают московские символисты.

Они и станут желанными гостями дома Марины Цветаевой – Андрей Белый, Максимилиан Волошин, Вячеслав Иванов, Константин Бальмонт, Борис Зайцев, Василий Розанов, Николай Бердяев, Илья Эренбург, князь Сергей Волконский, Александр Таиров, Алиса Коонен, Юрий Завадский…

Но уже где-то гремит война, грохот пушек пока не доносится до Москвы, а грядущая революция дремлет эмбрионом в утробе «Второй отечественной», как тогда казенные патриоты называли германскую войну. Только в марте 1915 года молодой муж уйдет добровольцем. Вернется в 1917-м, чтобы в том же году, в декабре, отправиться в «лебединый стан» – Белую гвардию. А в дом придет разруха.

Ходишь по этим удивительным комнатам – все разные: гостиная с высоченным потолком, мраморным камином и «окном в небо», проходная комната без окон, зато с роялем, светлая просторная детская (« *большой зеленый солнечный веселый рай для детей* »), где даже были клетки с шустрыми белками. Кабинет Марины – весь из углов (можно посчитать: их одиннадцать!), крутая лестница с «забежными» ступенями, ведущая в кабинет Сергея Эфрона (*«По-моему, это – каюта»*), где рукой достаешь до потолка, зато окна на разных уровнях: одно наверху, другое –

вровень с крышей, куда запросто можно было вылезти позагорать. А еще выше мансарда, где находили ночлег гости.

Здесь нет ограждающих канатов – можно ходить по коврам и паркету, почти нет музейных пояснений – они вынесены за пределы жилья – и это усиливает впечатление реальности. Но помимо воли сквозь восстановленный уют проступают иные картины. От всей цветаевской мебели уцелели туалетный столик и зеркало:

Хочу у зеркала, где муть
И сон туманящий,
Я выпытать – куда вам путь.
И где пристанище…

«Муть зеркала» оказалась не метафорой. Можно подойти и заглянуть в его волнистое стекло. Оно действительно искажает реальность, и видимое в нем кажется не отражением, а какой-то невнятной, неразгаданной картиной. Как будто зеркало хотело бы сохранить в своей глубине счастливые дни этого дома, но скрыть, забыть те невзгоды, которые превратили его в коммуналку и трущобу.

Среди неисчислимых бед, которые принесла революция, была и эта: рухнул уклад жизни и непредсказуемым образом потекли судьбы.

«В зале, которая находилась рядом с приемной и вела в комнату Марины, был, частию, стеклянный потолок. Он был пробит в нескольких местах, а на полу валялись огромные куски штукатурки. Это в верхнем этаже обвалился потолок, пробил стеклянный потолок залы, и тяжелые куски штукатурки от времени до времени еще продолжали падать…

– Что нового, Марина?

– Да что же нового может случиться? Какие-то поляки у меня поселились. Очень вежливые. Говорят со мной по-французски и любезно сообщают, что у меня очень много интересных вещей в доме, которые, очевидно, мне не нужны. Добрые такие. Они освобождают дом от ненужных вещей. Сегодня унесли и продали стенные часы. Говорят, мешают спать боем. Деньги за них не то потеряли, не то проиграли в карты по дороге», – вспоминал свой приход к Марине Цветаевой в 1920 году Константин Бальмонт.
Пока цел был потолок, в гостиной в камине пылала ненасытная «буржуйка», сожравшая мебель красного дерева, которую Марина рубила собственными руками. И тепла от нее было так немного…

– А что с Вами будет, как выйдут дрова?

– Дрова? Но на то у поэта – слова
Всегда – огневые – в запасе!
Нам нынешний год не опасен…

Но эти годы были мало сказать что опасны. Какая горечь, что самая большая комната в доме – детская, а трехлетняя Ирина в 1920-м умирает от голода в приюте! И уютный кабинет сделался бесполезен – стихи писались углем на стенах – где найдется местечко.

А в странной проходной комнате под портретом Бетховена в мемориальной квартире и теперь стоит рояль, но вовсе не мамин, привезенный из Тарусы. Тот был обменен на мешок грубой черной муки, потянул на пуд.

«Как тяжел б ы т, как удушливо тяжел! Как напряженно было б ы т и е, как героически напряженно!

А помните, как вошел к Вам грабитель и ужаснулся перед бедностью, в которой Вы живете? Вы его пригласили посидеть, поговорили с ним, и он, уходя, предложил Вам взять от него денег. Пришел, чтобы в з я т ь, а перед уходом захотел д а т ь. Его приход был б ы т, его уход был б ы т и е». (Сергей Волконский. Из предисловия к книге «Быт и бытие», посвященной Марине Цветаевой). *«Мелочи быта возвысились до обряда»,* страшного обряда. И отъезд из России становится неотвратим. «На нашей половине царил унылый предотъездный хаос, ничего общего не имевший с тем живым и неувядаемо-разнообразным, порой веселым беспорядком, в котором мы, лишившиеся прислуг и не обретшие их навыков, “содержали квартиру”, а она – нас», – писала Ариадна Эфрон.

Цветаева покидает Россию, уезжает на вокзал из Борисоглебского переулка, оставляет дом недолгого счастья и жесточайших бед.

Мы ходим по восстановленным комнатам, и всё время манит к себе зеркало – кривое зеркало «страшных лет России»…

На обратном пути задерживаемся у стендов, где отражена история дома, рассказано о цветаевских соседях. Все это очень интересно. Но ни личные вещи, ни тщательно, по крупицам собранные сведения «вокруг» Цветаевой сегодня не влекут нас к себе. И еще раз понимаешь, с каким тактом разведены в музейном пространстве те самые «быт» и «бытие», знание и живое чувство, несовместимое с казенными табличками. Конечно же, одно без другого немыслимо, но как важно было нам сегодня окунуться в двухслойную, противоречивую, но тем и подлинную атмосферу. И становится совершенно неважно, что далеко не все предметы видели хозяйку дома. Довольно зеркала…

Выходим в Борисоглебский, где сидит, подперев руками голову, бронзовая Марина Цветаева работы скульптора Нины Матвеевой и смотрит на собственными руками созданный и разрушенный, последний в ее жизни настоящий дом, дальше – лишь адреса…

Елена Холмогорова, Михаил Холмогоров Месяц в деревне

Когда Мише Холмогорову было семь лет, мама повела его в Художественный театр на «Синюю птицу». Там у билетерши купили недельную программу всех московских театров. Миша уже тогда не мог пропустить ни единого печатного слова и программку изучил от корки до корки. Почему-то навсегда осталось в памяти, что в Театре Красной армии идет пьеса И.С.Тургенева «Месяц в деревне». Он так и представил себе: ночь, спит деревня, а над ней сияет серебряный месяц широкой скобкою. Очень был разочарован, когда узнал, что речь шла о календарном месяце.

Мы же рассказываем не про месяц на небе и не про месяц календарный. Ведь случилось все описанное не в один месяц. Мы выбрали именно эти дни не потому, что они чем-то примечательны, а, напротив, потому, что они типичны. К тому же здесь описаны только те, как правило, выходные дни, которые соавторы – Е. и М. (так мы для краткости будем впредь себя именовать) – проводят вместе. Это очерк нашего семейного быта и нравов в те месяцы, когда неласковый среднерусский климат дает возможность жить в тверской деревенской глуши. В наши любимые месяцы…

Непреходящую моду на брюзжанье сформулировал когда-то Грибоедов: гоненье на Москву. Со всех сторон слышишь нытье: это город не для жизни, смог, пробки и вообще каменные джунгли. А мы любим Москву и даже гордимся, что обитаем в самом ее центре, откуда давно выселили три четверти исконного населения по бывшим пригородам, сохранившим сельские названия: Тропарево, Кузьминки, Отрадное, Крылатское… Да мы и сами грешны, лукаво провозгласив, будто настоящая жизнь в деревне Устье, там, где речка Дёржа впадает в самое Волгу, а в Москве – зимовка. Нет, в Москве тоже настоящая жизнь, да еще какая! Но не будем растекаться, разговор о московском житье-бытье заведет далеко.

Однако ж стоит переехать мост через Москва-реку – перед вами распахивается такой простор, что и не вобрать, глаза с жадностью озирают полную юной свежей зелени землю, навстречу летит неохватное небо. Замелькали знакомые указатели: Мансурово – Кострово, Деньково – Гребеньки, Сычево – Чисмена, Зденежье – Бухолово, Румянцево – неизбежное Первомайское.

Каждый год приносит сюрпризы. Только пересечешь границу Московской и Тверской областей, горделиво обозначенную громадным щитом, начинается, по определению местных шоферов, Дорога мужества – и в глубокой асфальтовой колее обнаруживаются новые ямы и ухабы. В Европе переезжаешь из Германии во Францию, и только язык вывесок говорит, что ты переместился из одного государства в другое. А тут – сразу чувствуешь разницу в финансировании и расхищении профинансированного. Ровный асфальт вдруг сморщивается в колеи, раскатанные тяжелыми грузовиками; если утратить бдительность, вот-вот угодишь в яму – дорожную рану, на которую не успели наложить небрежную повязку. Впрочем, не станем клеветать: капитальный ремонт шоссе отодвинул испытания на полтора десятка километров. Бог даст, пройдут годы, и разница вовсе сотрется. Но уж как свернешь с трассы – тут и говорить нечего.

Проселочная дорога в наше Устье на карте Тверской области не обозначена, а местные власти грозятся, что нам вот-вот придется прокладывать новую сквозь чащу леса… Но о проселке этом речь еще впереди.

Самый противный день в году известен уже много лет: это сборы в Москву в сентябре. Он висит над душой с первого зеленого листа, даже с разбухшей почки на березах и осинах, когда впервые вырываемся за просторы Кольцевой дороги. Нет бы радоваться, слава Богу, есть чему, – но, в силу врожденного пессимизма, мы тревожимся о конце блаженства. Осеннее разорение налаженного, обустроенного и усовершенствованного (каждый год – по-новому) деревенского быта заранее вносит смятение. Тем более что при первом же приезде приходится весь праздничный день выволакивать вещи, устраивать каждую на свое место. Ведь убираем поглубже, поукромнее не громоздкие электроприборы или газовую плиту, как большинство односельчан, а то, что имеет ценность эстетическую: домотканые половики, закарпатские глечики и узбекские пиалы, покрывало ручной вязки, плетеное лукошко. Насмешники, которые прагматически прячут вещи солидные, были посрамлены. Когда однажды в наш незатейливый тайничок влезли, почему-то больше всего мы скорбели об украденных вятских игрушках и берестяной солонке, которую как-то купили у олонецких мастеров в Петрозаводске: в ней никогда не отсыревала соль. Какого вора нынче удивишь газовой плитой или дисковым чайником? Они и остались нетронутыми.

Какой ни теплый первый день приезда, а в избе, как в шкатулочке, хранится зима с ее выстуженной сыростью. На

подоконниках спят бабочки павлиний глаз – нежно собираем их в ладошку и выпускаем на волю. Они какое-то время будто не верят подаренной свободе, медлят секунду-другую, наконец вспархивают – только их и видели. Удивляемся каждый год феномену: как выжили эти хрупкие существа? Как пронесли теплое свое дыхание сквозь мрак и холода долгой зимы?

Сразу же растапливаем печку еще с осени приготовленными дровами, а сами, не распаковывая московского груза, усаживаемся перекусить на крыльцо. Мы не настолько голодны, чтобы набрасываться на еду, это всего лишь предлог устроиться перед распаханным полем и рощей на пригорке в обретенной внезапно тишине.

Тишина здесь понятие относительное. Ее разрывают на части трель и цокот соловья из зарослей ирги и рябины, клекот галок, что угнездились под стрехой нашей избы, посвист скворца и треньканье синиц.

А дальше как обычно: разборка вещей, мучительное вспоминание, где что лежало и стояло, пылесос, тряпка, взаимные упреки – и так до вечера.

Зато вечером… Вечерами каждый раз новый, не тот, что вчера и что будет завтра, – закат. Тут уж сами себе завидуем… В Москве-то он заслонен двенадцатиэтажным домом, так что западное солнышко попадает в нашу квартиру всего два раза минут на пятнадцать. Около пяти и в девятом часу вечера.

* * *

М. получил однажды справедливое прозвище Мастер анодированные руки. Е. в безнадежной попытке помочь мужу надорвалась и схлопотала межпозвоночную грыжу. Так что тяжелые работы, неизбежные при жизни на земле, – это не про нас. Слава Богу, работа головой изредка оплачивается, и вместо того чтобы приобретать необходимое, мы все средства бросаем на излишества.

Нормальные люди на кусочке собственной земли разводят огород – по знакомой формуле: «Редисочка своя, лучок свой». Так то нормальные – а мы вместо укропа и огурцов на альпийской равнине (на горку сил не хватило) холим и лелеем цветы модерна – ирисы, лилии, нарциссы. Мы бы и рады вырастить что-нибудь полезное, но, во-первых, полезное требует ежедневного ухода, на который нет ни времени, ни тех же сил, а во-вторых, люди городские, мы так и не научились различать ботву репы и листья сурепки. А потому обречены на помощь более компетентных и

умелых людей.

В первые годы нашей жизни в Устье работал мастер на все руки беженец из Южной Осетии Малхаз вместе с братьями Джоном и Тимуром. Он построил нам два сарая, которые получились из задуманного навеса над дровами. Дрова же до сих пор сложены рядком вдоль забора и накрыты рубероидом. Еще он доводил до ума гостевой домик. Потом выяснилось, что это был его первый опыт в строительном деле; домик Малхаз поставил чуть ли не на голой земле, не озаботившись фундаментом. Зато в подарок Е. соорудил самый настоящий мангал, с которого, впрочем, пришлось потом снимать верхний ряд кирпичей. И заключительной акцией было возведение забора из гнилых перекладин. При всем том воспоминания о нем остались самые светлые. Последний раз мы встретили Малхаза в Зубцове заметно постаревшим и утратившим немереную свою силу. Это было в первые дни грузино-осетинского конфликта, во время которого был разрушен дом Джона. Джон и Тимур в Цхинвали уцелели, а Малхаз умер у телевизора, переживая беду своего народа.

Земли у нас теперь вдвое больше, чем при покупке дома. Приращение нашего участка по роковой случайности, а может быть, в силу неосознанного протеста совпало с финансовыми катаклизмами. В дефолт 1998 года, когда все закупали соль, сахар, спички и прочие необходимые в пору катастроф запасы, нам взбрело в голову невеликие наши сбережения бросить на приобретение семи соток заросшей иван-чаем, крапивой и пустырником земли. Хлопоты по приобретению еще трех соток десять лет спустя совпали с обрушившимся на весь мир финансовым кризисом, которому никакие экономисты не прогнозируют конца. Обошлись эти три сотки в полтора раза дороже тех семи, да еще обставлены новыми бюрократическими правилами: лежащее между забором и дорогой пространство, заселенное сорным кустарником и той же крапивой, надо было покупать на аукционе в беспощадной конкурентной борьбе. Правда, конкурента разрешили привести своего. В хождениях по инстанциям утешали мечты о кусочке дикого леса, который станет нашим наравне с газоном. Главным украшением нашей Новой Земли была не тундра, а роскошная береза, раскинувшая широкую крону над всякой мелочью: иргой и робкими осинками. Мелочь эту как не имеющую эстетической ценности вырубили, и тут выяснилось, что царственная береза вся насквозь прогнила и грозит в ураган, на которые щедро нынешнее лето, рухнуть на дом.

Конечно, не сами занимались вырубкой. Пригласили специалистов. За деньги, разумеется. Как у Чехова в «Скрипке

Ротшильда»: «Какие страшные убытки!». Они работают с редкими перекурами, обливаются потом, а нам стыдно сесть за компьютер, будто мы в стрелялки играем, а не зарабатываем деньги, чтобы с ними же и расплатиться. А уж книжку открыть тем более неуместно. Устав от безделья, слоняемся, подбирая какие-то веточки – вроде бы для растопки. Да, не только работники из нас никудышные, но и роль помещиков для обоих как-то не очень органична. Ходить и указывать, когда видишь огрехи, и то неловко. Е. вздыхает: хорошо бы иметь управляющего. Была такая должность в старину.

В яму за забором, в которую несколько лет назад упала сломанная бурей береза, и лишь неподъемная часть ствола пересекает ее, швыряются вырубленные стволы и ветви рябин, ирги и осинок, как знамена потерпевшей поражение армии. Лихо горит, поднимая над пламенем ровный столб дыма, что предвещает назавтра ясную погоду.

Работы кончились, батраки уехали, получив гонорар, остался костер.

Не таясь, открываем на террасе ноутбук, любуясь на невидимые еще утром овсяное поле и рощу.

Мы работаем, пишем этот текст, споря о запятых, а костер горит, точнее – тлеет, исходя дымом. Пообедали. Костер дымит, изредка выбрасывая то там, то здесь острые язычки пламени. Почитали вслух «Белую гвардию». Костер дымит. Поужинали. Костер дымит. Хочется погулять, выйти на Волгу, сверкающую золотом закатного неба, но куда уйдешь от огня в пяти шагах от забора? Е., в детстве бывшая свидетелем настоящего пожара в дачном поселке, утверждает, что надо заливать. Да и здесь, в Устье, знойным летом 2003 года мы всей деревней тушили начавшийся лесной пожар над Дёржей и канистрами на машинах возили воду. Пожарного вызвали, конечно, хотя долго пришлось его будить, а когда наконец примчался за 15 километров, выяснилось, что в его бочке нет воды. Впрочем, мы справились своими силами. Сколько канистр понадобится сейчас? – задается вопросом Е. Пока мы раздумываем, мимо нас проезжает еще один работник – к нашим соседям устранять неполадки с давлением в водопроводных трубах. Его приезд имеет, оказывается, самое непосредственное отношение к вопросу Е. о канистрах. Водопровод пришлось отключить на целые сутки. Насовсем. Так что когда настала пора заливать костер, оказалось, что в кране нет воды. Почему-то вспомнились учрежденческие лестницы с шлангами за стеклом или щиты у корпусов пионерских лагерей: ведро, багор, лопата – все выкрашено в красный цвет.

Мастер возвращается и обнаруживает нас в полной

растерянности у кострища. Бодро говорит, что засыплем песочком. Ведро, другое, третье… Горит. Вздыхаем: «Огнетушитель бы». Слава ГИБДД! Открываем багажник машины. Попутно выясняется, что пользоваться этим средством пожаротушения не умеем. Но мастер-спаситель еще с нами. Пшик! – струя невесть какого вещества, а костру хоть бы что. Берет из своей машины – пшик! – вроде бы затухает.

С изумлением обнаруживаем, что дело к полуночи. Вдруг защелкал запоздавший соловей-одиночка.

Так кончается самый длинный день в году.

* * *

Где-то в запасниках Третьяковской галереи хранится препаскуднейшее полотно кисти уж наверняка народного художника СССР с роскошным названием: «Утро нашей родины». Зона рискованного земледелия, которую выбрали наши предки для обитания, привлекла их не обилием плодородной земли, а разве что красотой ландшафта. Предпочитать красивое полезному у нас, видимо, в крови, и зря мы вчера хвастались: кого удивишь этим качеством?

Выходишь на крыльцо – слева видно, как на том берегу Волги поднимается на горку целая дивизия березок отроческого возраста. Справа – овсяное поле и тоже поднимается к рощице: от нас она смотрится ровной, будто гребешок, полосой, а если миновать деревню и взглянуть на нее от заливных лугов, она окажется треугольником.

Деревня наша просыпается не рано. Ни петухов-будильников, ни тем более коров у москвичей, обитающих в нашем Устье, нет и в заводе, а посему привычка отсыпаться по выходным стала местной традицией. Впрочем, традиция и на будни перекинулась. Так что пресловутые утра нашей родины достаются для обозрения далеко не каждому.

А мы, как на заводе «Серп и молот», включаем компьютер ровно в восемь.

Патриархальные нравы, когда запросто по-соседски заходят друг к другу, здесь еще теплятся, но под натиском современных средств связи нехотя отступают. Зачем с пустяковым вопросом тащиться в горку, да еще по жаре, когда можно вполне обойтись мобильником? Вот уже два года связь такая, что хоть в соседний дом, хоть в Москву, хоть в Нью-Йорк звони запросто и без помех. Скажи кто-нибудь лет пять назад, что можно будет с крыльца выйти в Интернет – сочли бы маниловщиной, а теперь – дважды

два. А раньше надо было поздним вечером (в другое время суток бесполезно) подняться по крутому холму, найти там место, где на трубке вспыхивали, дрожа, хотя бы два деления, и, уворачиваясь от порывов ветра, почитать за счастье еле слышное «У нас все в порядке».

Да, цивилизация берет свое. Как известно, к хорошему быстро привыкаешь, и, стоя под душем или моя посуду под горячей струей, странно вспомнить, как первые четыре года багажник машины был всегда набит канистрами (Е. так и говорила, что она женщина, на которой возят воду). Деревня наша стоит на каменных плитах, чтобы добраться до вожделенной влаги, колодца недостаточно, а на скважину деньги нашлись не сразу.

Когда мы купили этот дом, нас, присмотревшись, приняли в местное сообщество, и тогда мы приобрели не только новых друзей, а нечто большее. Конечно же, мы созваниваемся зимой и раз-другой встречаемся по разным торжественным поводам, но летняя жизнь под одним кусочком неба превращает дружбу в родство.

Здешнее бытие с московским пересекается мало, а потому существование приобретает новый объем. Мы считаем, что проживаем две жизни, а Е. настаивает, что у нее получается целых три: в Москве, в деревне и в машине, поскольку протяженность пути и частота перегонов почти уравнивают ее с дальнобойщиками.

Компания наша, если собраться всем сразу, – человек тридцать. Самое серьезное празднество на нашей территории было пять лет назад. Мы отмечали юбилей своей деревенской жизни под лозунгом «Десять лет вместе», каковой на больших листах красовался на фронтоне. На коллективной фотографии Е. насчитала тридцать два человека. В лучших усадебных традициях на приемы съезжаются сливки общества из трех соседних деревень (причем «сливки» таковыми вполне могут считаться и по самым строгим московским меркам). Но чаще собираемся человек по десять. И редкая неделя обходится без таких застолий.

Сегодня хозяева мы, и это, естественно, накладывает отпечаток на распорядок дня.

После завтрака едем в рай-столицу. До нее 25 километров. Столица нашего рая – город Зубцов, основанный, как сказано на большом щите при въезде, в 1216 году. Он так уютно расположился у слияния Вазузы и Волги, что войска Наполеона в 1812 году прошли мимо, не заметив и не разорив. Это был крепкий купеческий городок. Разорили Зубцов советская власть и немецкие оккупанты. Однако в последние годы город, состоящий преимущественно из деревенских изб, постепенно обретает

современный вид, и мы проезжаем мимо ограды вокруг котлована с гордой вывеской, сообщающей, что возводится трехсекционный семиэтажный дом. Слава Богу, миновали те времена, когда местные обыватели таскали на себе продукты, в собственном районе произведенные, из Москвы. Суперуниверсам и просто универсам, но фирмы «Тверской купец», набором товаров ничем не отличаются от столичных. Из промтоваров самые востребованные здесь – хозяйственные. Эти запросы вполне вроде бы удовлетворят несколько москательных лавок и двухэтажный новый магазин «Стройка века». Но нет, при выезде из Зубцова обнаруживается новое почти готовое здание под нарядной синей крышей – «Всё для стройки». Мы, конечно, зайдем в эти столь привлекательные торговые заведения, но сейчас стоим перед выбором: «Тверской купец» или «Супермаркет Универсальный»? Решение подсказывают дороги: «Купец» расположен у самой трассы, а добраться до площади с универсамом – та еще проблема. Если Москва – Рига дорога мужества, то городские улицы Зубцова впору обозначить как автомобильный слалом. Лавирование между ямами глубиной до полуметра – экстремальный вид спорта. Кому не хватает адреналина – милости просим!

У каждого званого обеда должна быть своя изюминка. Мы, конечно, не старосветские помещики и «грибков с чабрецом, с гвоздиками и волошскими орехами» у нас нет, но по случаю несусветной жары всё взывает к холодному свекольнику. Кстати, очень точная примета: стоит в зной приготовить тот же свекольник или окрошку, как небо затягивается тучами, сиверко начинает свирепо дуть в полную силу. Поскольку сегодня лишь первый день жары, есть редкий шанс, что верная примета сбудется не сразу.

Событие вроде бы рядовое, но светское: дамы – в белых платьях, джентльмены тоже при параде, правда, без галстуков.

Тосты разнятся в зависимости от случая, но один неизменен. Родившись когда-то в пылу застольного вдохновения, он не был рассчитан на долгую жизнь, однако судьба распорядилась иначе. Ни одно пиршество теперь не обходится без здравицы «За нашу великую малую родину!». Патент на этот тост принадлежит М., причем по-восточному цветистый подход к финальному восклицанию всегда сочиняется заново. Рассказывают, что однажды, когда М. уехал в Москву и не мог присутствовать на очередном пиршестве, кто-то спросил: «А как же тост про великую малую родину?»

И еще одна традиция. Перед чаем кто-нибудь из нас читает гостям прямо с экрана ноутбука что-нибудь из свеженаписанного.

На этот раз Е. «презентует» отрывок из новой повести.

Проводив гостей, пошли пройтись по деревне. Марыся, кошка с характером верного пса, увязалась за нами и, испуганно мяукая и распушив хвост, отважно прошла весь немалый периметр нашего Устья, да еще с выходом на берег Волги.

Устав от пережитого – долгого пути, внезапной встречи с рыжей собачкой неведомой породы Ларсиком, двумя незнакомыми котами, – Марыся свалилась с ног и разлеглась на пороге, не в силах переступить через него. Мы бы тоже не прочь последовать ее примеру, но вечер так завораживал изменчивым узором лилово-красных туч на закате, отблеском уходящего солнца на озолотившихся стволах сосен, что всякое желание улечься в сумрачной избе отлетело само собой.

Никакие интеллектуальные забавы нам уже не по зубам. Играем в кости, отбиваясь от комаров. Эти твари звенят с каким-то вдохновенным энтузиазмом – тоже радуются начавшемуся лету. Они-то и загоняют в дом спать.

Аборигены ближних сел называют нас дачниками. Мы себя таковыми не считаем. Но точного определения себе найти не можем. Как уже говорилось, даже мелким огородничеством нам заниматься неинтересно, так что признать себя сельскими жителями мы никак не можем. Аналогии приходится отыскивать в давно минувшем XIX веке. Вспоминается почему-то название тургеневской повести «Однодворец Овсянников». Вот мы, похоже, однодворцы и есть. Как люди, работающие со словом, мы мучаемся в поисках точного обозначения наших владений. Усадьба? Поместье? Уж очень отдает снобизмом, неловко произносить. Или отвратительное – участок? В нем чудится либо что-то полицейское, либо глубинно советское (Е. вспоминает: где-то не то в Мамонтовке, не то в Тарасовке бросилось ей в глаза объявление: «Продается участок в дачном кооперативе «Здоровый быт»).

Впрочем, слова, как и предметы, обладают удивительным свойством, пройдя стадию отвратительной «рухляди», превращаться, если доживут, в ценный «антиквариат». Вот, скажем, название колхоза, чьи поля простираются прямо за нашим забором, звучит трогательно-беззащитно – «Сознательный». И давно уж оно не вызывает ассоциаций с принудительной коллективизацией, страшной «ликвидацией кулачества как класса», с теми «сознательными» единоличниками, которые предлинной хворостиной гонят свою Буренку в общее стойло, а скорее с боевыми кораблями, по морской традиции именуемыми «Стремительный», «Отважный» или «Находчивый». Так что, может статься, зря мы стыдливо

избегаем наименования «участок»? Нет, не зря, что-то казенное слышится в этом слове, протащившем полицейский смысл сквозь революции и мировые войны.

К тому же дачные участки по всему Подмосковью жмутся друг к другу, как опята на пне. Наша же деревня – анклав, зажатый в треугольнике Волга – Дёржа – пашня. Мы простодушно радуемся, что расширяться деревне некуда – между нами и реками водоохранная зона… Но ходят по району тревожные слухи, что берега Волги давно запроданы, а пресловутая зона не то сокращена до пяти метров вместо пятидесяти, не то вообще отменена. Местные власти упирают на то, что наши места – курортные, и под этим предлогом норовят запретить коровам пастись на заливных лугах и ступать поганым копытом в священные воды великой русской реки. Первая ласточка – отхвативший многие гектары вдоль этой реки «Волга кантри клаб отель бутик» (разве что слово «элитный» забыли впихнуть в это нелепое, многоэтажное имечко). На опоясанной железной сеткой огромной территории не то таджики, не то китайцы, не то марсиане без устали наводят европейский глянец, сооружая куртины из молодых березок и сосенок и каскады из мелководного ручейка. Однако посмотреть на это можно лишь издалека – будка, шлагбаум обеспечивают спокойный отдых чистой публике. Попытка по телефону зарезервировать столик для званого обеда получает вежливый отказ, мол, извините, мест нет, а про номер на уик-энд было отвечено, что все забронировано до конца сезона.

Пока еще можно от дома покойной Людмилы Зыкиной перейти дорогу и «свои ладони в Волгу опустить», но вот-вот и там, того гляди, возникнет полоса препятствий с устрашающей табличкой «Частное владение. Проход и проезд запрещен».

На противоположном берегу – строительная площадка, будущая президентская резиденция. В округе только и разговоров о том, что станет получше с электричеством, глядишь, починят дорогу, и ползет упорный слух, что район теперь присоединят к Московской области.

А вся наша надежда на то, что пора профсоюзных пансионатов с попсовой музыкой из репродукторов прошла, нынче мода на простор и тишину, а потому новых соседей, коли они появятся, будет не очень видно и слышно. Лишь бы лес и река остались доступны.

Но все это из той области, где царствуют распил бюджета и откат и куда нам, слава Богу, хода нет.

Такие нас одолевают за долгим завтраком неспешные рассуждения. День обещает быть ленивым и бездеятельным по

случаю невыносимой жары. В Интернете ее почему-то именуют «аномальной», хотя на дворе вполне типичная летняя погода. И так лето в наших широтах короткое, по пушкинскому определению, «карикатура южных зим». Почему-то все рвутся в Египет да Турцию, где градусов на десять жарче – там «отдыхают», а в средней полосе в зной неизменно «мучаются».

Изнывая от пекла и полуденной разморенной лени, беремся за том Булгакова с «Белой гвардией». И погружаемся в простуженный насквозь декабрь 1918 года, кошмары Гражданской войны, от которых не спасает никакое чувство юмора. Е. при чтении вслух печалуется, что, несмотря на красный диплом историка, не понимает отличия того же гетмана от Петлюры. М. терпеливо объясняет, что ужас – не в страхе вероятной гибели, а в полной сумятице, и цитирует:

«…Они не сделали, потому что ничего не знали и не понимали.

Да и никто ничего не понимал в Городе, и в будущем, вероятно, не скоро поймут».

Непонимание страшнее реальной угрозы. Мы сами пережили нечто подобное в 1991-м и 1993-м. Е. долго не могла оправиться, когда в октябре 93-го при переходе Садового кольца оголтелая толпа затаскивала ее перекрывать мостовую. Да и в 91-м было как-то не по себе, когда пришлось идти мимо ревущих моторами танков, торопясь успеть до комендантского часа. Мы тоже ничего не знали и не понимали. Прав поэт: неуютно жить в момент, интересный для историка.

На исходе восьмой главы язык чтеца заплелся, нас настигла испанская сиеста, когда только и хочется залечь в прохладной тени и спать, спать, спать, пренебрегая грядущей бессонницей.

Обед и тот ленивый. Собрав силу воли в кулак, крошим в тарелку зелень, редиску и огурец, режем на мелкие части баварскую сосиску, заранее сваренное яйцо, заливаем квасом – вот и окрошка. А уж поспать после обеда – дело святое. Исключительно деревенское – в Москве это никогда не удается. Продираем глаза где-то в шестом часу – зной почему-то только усилился. Ну да, сталинский декретный час плюс летнее время – по-астрономически только три пополудни…

Но на «Скрэббл» сил вполне хватает. М. много лет склонял Е. к этой причудливой игре, а Е., наслышанная легенд о его чемпионстве в играх со словами, робела, пока М. не доказал ей, что главное – не завоеванные очки, а красота сложных слов, когда к «заливу» добавляется «-ное» или «фигура» вырастает в «конфигурацию». И тогда М. стал играть сам с собой, укрываясь псевдонимами кота и собаки. Бурбон и Барон проявили в свое

время немалую изобретательность в игре. На баронское слово «женщина» Бурбон мгновенно ответил: «мужчина». А еще у кота были «анамнез», «фаворитка», у пса же – «сераль», «озонатор».

Ни Барона, ни Бурбона в живых уже давно нет, а тетрадка с игрой хранится, и, когда показывается на глаза, веришь, будто на самом деле наши звери так проводили досуг.

Во всяком случае, участие четвероногих интеллектуалов в игре убедило и Е., что победа здесь не самое приятное. И, хотя выигрывает она, прямо скажем, нечасто, забаву эту полюбила. Нет-нет, да и сама одарит игровое поле «тождеством» или «центурионом».

Сонное течение дня прервано двумя событиями. Сначала – потекла труба под умывальником. О, тяжкая доля домовладельца! Хорошо хоть завтра обещал приехать мастер налаживать общий водопровод. А второе событие – из разряда особо противных: у Е. стала вздуваться щека. Народное средство – шалфей и ромашка лекарственная (не путать с нивяником, который за белые лепестки вокруг желтой сердцевины тоже именуют ромашкой). За шалфеем надо спускаться крутым скалистым берегом Дёржи, на что в такой зной нет никаких сил, зато ромашка произрастает на обочине овсяного поля в сотне метров от нас. Марысю мы оставили крепко спящей в глубине кресла. Едва зашли за калитку – здравствуйте! – семенит за нами, а угадав направление, забегает далеко вперед, останавливается и ждет, когда мы, изможенные, доползем.

Вечер завершается полосканием ромашкой и шалфеем, который принесла добрая соседка.

Накануне день прошел в режиме ожидания (слово, заимствованное из компьютера). Должна приехать дочь Вита. И хотя освободится она от работы не раньше шести, с утра – перезвоны с уточнением времени и списком, что привезти из города. Все здесь есть, кроме разве что фруктов-ягод – местные еще не созрели. Выехала. Проходит час, другой, третий – Виты нет. Волнуемся, руки тянутся к мобильнику, но сдерживаемся, дергать человека за рулем – последнее дело. По нашим расчетам, ей пора въезжать в ворота. Это, конечно, банальность – отмечать относительность времени. Но все ожидания одинаковы, и тождество их как раз в растяженности минут: одна стоит доброго десятка пролетевших в спешке. А вот годы мчатся с умопомрачительной скоростью. Когда мы обустраивали свою альпийскую равнину, М. выкопал в лесу куст можжевельника – он весь уместился в корзинке для грибов и высотой не превышал полуметра. Сейчас это деревце выше человеческого роста. Оказывается, ровно десять лет прошло.

Наконец звонок. Больше часа объяснялась с гаишниками в Волоколамске – грозились отобрать права. Сама виновата, конечно, разогналась до ста двадцати, еще не выехав из границ города. Пришлось привлечь по телефону приятеля, у которого связи в ГИБДД, и они решили дело миром. Мы облегченно вздыхаем, а в душе рады случившемуся, глядишь, пугнули, будет ездить потише.

К нашей радости, Вита бывать здесь любит, старается вырваться каждую неделю. Нам кажется, что она тут здорово отдыхает, тем более что делать, как правило, ничего не приходится. Известно, что люди с возрастом забывают, какими были в молодости, потому и требуют от детей невозможного. Но, к счастью, Е. хорошо помнит, как на родовой подмосковной даче (которую она любила с детства) бабушка, уже потерявшая былую силу, все время требовала соблюдения того порядка, который был, когда на участке возились она сама, домработница и привлеченная рабочая сила – «рубль в час», по тогдашним ценам. Ее было жаль, но умозрительно, теоретически. Понятно было, что ей тяжело смотреть на приходящие в упадок клумбы с пионами и розами, зарастающие густой снытью бывшие грядки с ремонтантной земляникой, облезающую краску на садовых скамейках. Но поддержание этого хозяйства требовало постоянных усилий, на которые мы не были готовы ни физически, ни морально. Мучительная смесь стыда за собственную лень и почти ненависти к лишенной смысла деятельности (ведь все опять зарастет и облезет!) отравила многие годы. Теперь же бабушки давно нет на свете, а Е. признается, что все чаще узнает ее в себе. И занудные эти работы вовсе уже не кажутся бессмысленными, а, напротив, отвоевывают в душе все больше места.

Приезды Виты – прежде всего общение. Зимой это удается куда реже. Но допрежь разговоров ей надо выспаться. У нас этой культуры нет. Много лет не будучи связаны началом рабочего дня, мы, тем не менее, встаем всегда довольно рано, а Е. вообще жалуется, что постепенно превращается в жаворонка. Вита же – сова и поспать на свежем воздухе горазда. Мы давно позавтракали, стараемся не шуметь. И тут со второго этажа приходит эсэмэска: «Не хлопайте дверью, плз». М. изумляется странному набору букв, а Е. как раз недавно просветили, что «плз» на эсэмэсном языке всего-навсего форма вежливости – «пожалуйста», от английского “please”.

Для нас после обеда, для Виты после завтрака отправляемся с ней и зятем Мишей в лес. Надежд на грибы никаких – разве что лисички. Но мы едем в места, где их заведомо не будет. Грибам

же благородным – подберезовикам, белым и подосиновикам не пришел срок: рожь еще не начала как следует колоситься. Так что мы просто гуляем по особо живописным опушкам. М. проводит сквозь густые заросли, вцепляющиеся в платья, к поваленной березе, у которой издавна садится покурить. Усаживается и проваливается в мягкое кресло: за зиму ствол прогнил и обрел новое качество.

Мы оказываемся на краю ржаного поля, мигающего под ветром синими вспышками васильков. Чтобы не возвращаться совсем уж с пустыми руками, собираем васильки и колокольчики, белый подмаренник и ромашки (тот самый нивяник). Заодно обнаруживаем, что не прав поэт: колокольчики вовсе не темно-голубые, а лиловатые. Темно-голубые вырастут через неделю в глубине леса на смену ночным фиалкам, которым суждено благоухать на террасе нашего дома: в избу их пускать нельзя, дабы избежать утренней головной боли.

Возвращаемся усталые, но расслабляться нельзя: Вита привезла статью, которую надлежит внимательно прочитать на предмет проверки благозвучия фраз и расстановки знаков препинания. Больше ничего не требуется: дочь у нас вполне грамотная, а что до содержания, мы каждый раз поражаемся, в кого она такая умная. Ее наука – психология – выше нашего разумения.

Ужин превращаем в действо. В мангале разжигаем священный огонь, засыпаем углями и, когда костер созревает и горит без пламени, жарим на решетке куриные крылышки и разные овощи: кабачки, помидоры, красный лук, баклажаны. На наше счастье, Миша – муж Виты – справляется с этим куда лучше нас. Трапезу совершаем на крыльце при свечах.

К столу подается джин производства фирмы «Вереск» из города Кашина.

В начале семидесятых, когда понятие «рыночные отношения» было разве что не ругательным, М. провел несколько зим в поселке Шереметьево. В продуктовую лавку как-то завезли водку кашинского производства. На языке эта жидкость распадалась, кажется, на все элементы менделеевской таблицы плюс какие-то образования из химии органической. Так что, впервые увидев в здешних магазинах водки, настойки и джин того же кашинского завода, М. состроил весьма кислую рожу. С трудом уговорили попробовать. Вот что делает рынок! Столь превосходного качества водки в жизни не пробовал. О джине и не говорим – не уступает английскому.

Заканчиваем день партией в маджонг. До чего ж приятно ощущать пальцами старинную слоновую кость! Составляем

причудливые комбинации с экзотическими восточными названиями: «Хвост дракона», «Ветряные ворота», «Ряд, пунг и пара», «Три великих ученых». М. сегодня вообще несказанно повезло: он достал «Луну со дна моря». Маджонг – занятие для долгих зимних вечеров, но зимы у нас такие суетные, что коробку с игрой мы так ни разу и не открыли, тем более что партнеров – Виту с Мишей – на длинную игру заполучить нелегко. Хочется закончить хотя бы «круг зюйда», но азарт зажигает одну Виту – она выспалась, а у нас веки будто медом смазаны. С трудом завершаем «круг иста».

О, тяжкая доля собственника! Приобретение дома – а ведь каким новеньким и крепеньким казался, когда осматривали его впервые: уж на наш-то век хватит! – сулило буколические радости. Впрочем, любого нормального хозяина такие смотрины рассмешили бы – ну кто станет покупать дом, не войдя вовнутрь (в тот день бывшие владельцы забыли в Москве ключи)? Е. только обошла вокруг, приникая к каждому окошку (что она там разглядела?), ощупала теплые бревна и вдруг поняла: этот дом – мой. А М. для принятия решения хватило трех белых на участке, что росли под высокой березой.

Когда «мышеловка захлопнулась», т. е. были получены все бумаги, удостоверяющие наши права на дом, и прошла эйфория, выяснилось, что он, как и всякая собственность, требует ухода и, соответственно, вложения капиталов. Это урок всем, кто хочет хоть чем-нибудь владеть. То крыша, то ступеньки, тут прогнило, там расшаталось… Так что первое десятилетие ушло на полное обустройство: водопровод, сараи, клумба. Сажали и плодовые деревья: сначала яблони, погибшие от морозов, зайцев и подземных крыс, потом – две вишни (третья тоже не выжила), давшие за все годы целых девять ягод, да и те склевали птицы.

Покончив с необходимым, принялись за излишества. Возникла пристройка с душевой кабинкой и теплым ватерклозетом. Е. слышала по радио, как представитель риелторской фирмы расхваливал квартиру в элитном доме, напирая на то, что там площадь ванной комнаты целых девять квадратных метров. Ну прямо как наша пристройка – три на три! И как верх разврата вдруг смертельно захотелось сидеть вечерами у горящего камина и глядеть на живой огонь…

И вот в углу красуется камин, но терраса завалена строительным мусором, что приводит впечатлительного М. в ужас. Впрочем, всякое нарушение порядка в первую минуту повергает М. в шок: кажется, что никогда мир не вернется в свое привычное, удобное состояние. Но на это есть великолепная пословица: глаза боятся, а руки делают. Сейчас этих рук в

наличии три. Две левые и одна правая. Непрошеный возраст артритом постучался к Е. и вывел из игры ее правую руку. Закованная в лангету, она может исполнять только подсобную роль, как та же Е. назвала одну из своих книг – «Лучшая роль второго плана». Зато очень способствует исполнять должность главнокомандующего. Приказов хватило бы на добрую дивизию, но М. один, мнит себя офицером, которому меньше взвода не дадут, дальше Кушки не пошлют. Да вот беда, куда б ни послали, солдат не придали, и все надо делать самому.

Как ни странно, порядок воцарился тем же вечером. А сейчас проблема: какие васильки собрать для окончательного украшения террасы. Во ржи васильки высокие, норовят обогнать колосья, в овсах – низенькие, но широковетвистые, на одном стебле три-четыре цветка. Побеждает лень: за высокими надо идти в горку, потом – через поле клевера и тимофеевки, а низенькие – вот они, за забором через дорогу. Тут вдруг встал лингвистический вопрос: почему «во ржи», но «в овсах»? Не скажешь ни «в овсе», ни тем более «во ржах».

Вернувшись с васильковым по цвету и ботанической сути букетом, обнаруживаем, что камин уже используется. Кошка Марыся уютно свернулась клубочком в самом его жерле. Е. хватается за фотоаппарат – картина презабавная. Ничего, опробуем вечером камин – не полежишь.

Вечера ждать не пришлось. Атлантический океан перегрелся, испарился, кажется, весь и опрокинулся неслыханным ливнем на нашу бедную землю. А где-то там, в отливах, обнажилась, выйдя на поверхность, загадочная страна из древнегреческих сказаний. Ее не обнаруживают с воздуха лишь потому, что в такие часы погода нелетная. Природа, истомившаяся зноем, ликует, раскатываясь веселыми громами, а Е. печалуется: «Опять дорогу размыло!» После такой грозы ожидается солнышко, голубоватый пар над изумрудной травой… Дудки! Ливень перешел в унылый нескончаемый дождик, мгла за окном не рассеялась, а только сгустилась, объяв пространство ранними сумерками.

Давно ждала своего часа бутылка белого вина, привезенная весной из поездки сквозь бескрайние виноградники Эльзаса и Лотарингии. Сегодня есть достойный повод – премьера камина. Дело тормозит очередной лингвистический казус.

М. утверждает:

– Затопим камин.

Е. кипятится:

– Топят печку, а камин разжигают.

М. настаивает:

– Нет, разжигают костер! Вот тебе доказательство – сам Иван

Алексеевич Бунин:

Что ж, камин *затоплю,*

Буду пить.

Хорошо бы собаку купить.

Была у нас собака… Не просто собака, а самая лучшая на свете. Так и видно ее сейчас в отсветах пламени. Лежит задумчиво, положив морду на лапы, вздыхает. А кот Бурбон пристроился где-то рядом. Они любили друг друга, и пес умер от тоски через две недели после смерти кота. Бедная Марыся – чудная девочка, перед которой все время стыдно за невольные сравнения. А собаку новую мы едва ли купим… Гроза не прошла даром. Отключили электричество. И мы оказались обречены провести вечер не просто у камина, а вдобавок при свечах. Настоящий романтический ужин. Что ж, не бывает худа без добра.

Каждой пятнице, как известно, предшествует четверг. Для М. это особый день – надо убрать дом, чтобы встретить Е. в полном блеске, а еще наполнить вазы цветами. Лучшие цветы произрастают на берегу Дёржи. Вдоль спуска из сорока ступеней, когда-то выложенных старательным односельчанином, ярко-желтыми солнцами горят пупавки, их оранжевая разновидность в Сибири называется жарками. И ярко-голубыми фонарями то здесь, то там вспыхивает цикорий. Ближе к реке качаются синие султанчики шалфея. И свысока на мелочь посматривает желтый коровяк. За ноги цепляет липкая травка с белыми мелкими цветочками – ясменник. Мы сравнительно недавно такие грамотные в ботанике. Сосед из деревни Мозгово сделал М. поистине царский подарок: вручил ему в какой-то торжественный час двухтомный определитель «Травянистые растения СССР». Оттуда почерпнули прелестное название травки, в наших палестинах не растущей, только на Дальнем Востоке: джефферсония сомнительная. «Погодка джефферсонится», – говаривает Е., когда в час, предназначенный для прогулки, небо вдруг обкладывается грозовыми тучами. Возвращается М. с полной охапкой, а потом добрых два часа составляет букеты по росту и цветовой гамме. Искусству икебаны он не обучался, но для дилетанта, по мнению Е., получается неплохо.

Каждая наша машина обретала имя собственное. Как с наречением младенцев и зверей, чаще всего это действо носит инфернальный характер, и результат не поддается разумному объяснению. Впрочем, бывают и вполне логичные имена – в честь кого-нибудь или по каким еще признакам. Вот была, например, у нас машина Мурёнка, поскольку в техпаспорте ее цвет морской волны был обозначен как «мурена», потом – Бацилла (уменьшительно-ласкательное Циля), поскольку буквы ее номера

составляют фамилию великого микробиолога – КОХ, а сейчас опять Мурёнка, поскольку согласные в номере РНК.

В пятницу утром по крышу в пыли или грязи в зависимости от погоды, преодолев путь в двести пятьдесят километров, Мурёнка въезжает в распахнутые ворота. Разгрузив багажник, М. непременно спрашивает:

– Что нового в столице?

Но Москва бедна новостями. Даже в ту пору, когда не было мобильников и Интернета, особых происшествий не случалось: разве что ураган в июле 1998 года и дефолт в августе. Теперь же при ежедневной безлимитной связи вопрос и вовсе превратился в ритуальный. Что раньше, что теперь деревенских новостей неизмеримо больше. В тиши полей и лесов событием становится всё: у кого потек холодильник, у кого кошка пропала на трое суток, кто в знойную неделю умудрился принести с десяток белых, у кого пионы распустились на неделю раньше срока – да мало ли важного случается здесь каждый день.

А еще приезжает автолавка. Это огромный крытый грузовик, дребезжащий всеми сочленениями на ухабистой дороге. На подъезде к деревне он начинает оглушительно сигналить, оповещая народ, как вечевой колокол. Но мог бы и не затрудняться – народ уже образовал очередь. В этом году случилась полная победа капитализма: по разным дням недели стали приезжать машины из двух конкурирующих магазинов и бороться за покупателя.

Любопытства ради – нам от автолавки ничего не нужно, ее клиенты – старики-пенсионеры или «безлошадные» отпускники – М. идет на вечевую площадь. Только закрыл калитку, из-под ноги раздается:

– Мяу!

Марыся, как уже было сказано, – кошка с характером верного пса. Куда бы М. ни пошел, она увязывается за ним, как Санчо Панса за своим повелителем. Сколько хитростей изобреталось, чтобы отвлечь ее внимание – все напрасно. Раньше она боялась овсяного поля: в его зарослях она чувствовала себя, как Данте, прошедший жизни путь почти до половины. И, едва ступив на тропинку, делала несколько шагов, панически мяукала и возвращалась домой. А тут она как-то вдруг осмелела, сначала робко, с каждым шагом все отважней и отважней, пересекла поле до конца, прошла рощу, а там второе поле – и не струсила, порой даже обгоняла хозяина на пару шагов. Как М. ни щадил кошку, а километра четыре в азартных поисках лисичек проделал. И кошка с ним. Слава Богу, в отличие от покойного анархиста Барона, не отлучалась, жалась к ноге и путешествие выдержала достойно.

А уж в родной деревне сам Бог велел увязаться за М. И не только ей – тут у автолавки целый зоопарк. В соседней деревне одна московская дама держит стойло с двумя лошадьми и ослом. Конюхом там служит гастарбайтер из Средней Азии. Он и въехал к автолавке, как в Иерусалим, на осляти. А еще со своими хозяевами пришли три собаки. Марыся за авантюризм расплатилась паническим страхом и забилась под грузовик, откуда никакими мольбами извлечь ее было невозможно, пока М. не догадался зайти домой за кошачьим лакомством. На этот раз автолавка привезла массу самых экзотических продуктов – от килек пряного посола до ананасов, но почему-то не догадались привезти хлеба. Ой что было!!!

Это новости деревенского масштаба.

Но есть и районные. Местную зубцовскую и ржевскую прессу мы покупаем регулярно. Нам интересно все: ремонт дорог и газификация, привесы и надои, ход уборочной и происшествия, среди которых случаются весьма экзотические.

А еще один важный источник районных новостей – страховщица. Каждый ее приход (благо, платить за сезон можно частями), хоть и отнимает в силу словоохотливости агента не меньше часа-полутора, приносит массу новой информации. Ведь она, как когда-то сельский почтальон, знает все и про всех. Тут вперемешку сплетни и высокая политика: от мордобития на субботней дискотеке и кражи поросенка до хода стройки дома новой главы района и (полушепотом) пресловутых последствий появления по соседству резиденции Самого… Легка на помине! На велосипеде с привязанной к раме папкой к нашей калитке приближается страховой агент. Е. вздыхает: выключай компьютер – конец сегодняшней работе, да и трату эту планировала на следующую неделю. Что поделаешь…

Хозяйственные дела найдутся всегда. Давно ждут своего часа в кульках из газет разнокалиберные гвозди и шурупы, которые Е. педантично раскладывает по соответствующим коробочкам из-под чая; надо залить в раковины прочищающую жидкость, а главное – засыпать в оставшуюся от прежних, некомфортных времен отхожую яму чудо-порошок с изысканным названием «Уборная сила».

Телевизора мы здесь не заводим не из принципиальных протестных соображений, а просто за ненадобностью. Потребность в этом источнике правдивой информации возникает раз в два года – чемпионаты Европы и мира по футболу. Сейчас как раз тот самый случай. М. идет болеть к соседям и приносит сенсационную весть – голландцы вышибли из турнира самое Бразилию.

Но летом мы не только зрители, а участники состязаний. Шахматы, бильярд и, наконец, крокет. Сегодня как раз предстоит сражение. И воротца на газоне у наших друзей уже расставлены. Азарт пробуждает аппетит, и куриные крылышки, румянящиеся на мангале, оказываются весьма кстати, особенно под хорошее вино.

Засиделись до глубоких сумерек, и оказалось, что у хозяев припасен сюрприз. Веселясь, как малые дети, мы запускаем в темнеющее небо какой-то экзотический воздушный шар, поднимаемый вверх подожженным парафиновым фитилем. М. вспоминает, что когда-то вычитал: оказывается, день рождения Е. совпадает с днем рождения Жозефа-Мишеля, старшего из братьев Монгольфье. Шар медленно уплывает за Дёржу, как олимпийский мишка, и постепенно скрывается из глаз. Если где-нибудь в райцентре его увидят, непременно местная газета отзовется авторитетным утверждением, что наш Зубцовский район посетили на НЛО инопланетяне.

Когда-то надо и отдохнуть от сидения за ноутбуком. Да и голова не каждый раз способна к плодотворной работе. Собираемся в лес.

В лес два пути. Один, ближайший, – через овсяное поле вверх на рощу, пройти сквозь нее и опять через неширокое поле. Туда ведет дорога, особенно красивая осенью, когда трава пожухла везде, кроме этой широкой аллеи, спускающейся в чащу. Она свернет налево и приведет к Волге.

Второй идет в гору к началу деревни, там надо миновать поле и взойти в клин из тех, что высаживались в сороковые годы в борьбе с суховеями, каковые в наших краях неведомы. Московские приказы в ту пору не обсуждались.

В лес собрались, так сказать, платонически, без прагматических целей, но почему-то на всякий случай корзинку берем.

В споре о выборе пути, как правило, побеждает М. в силу своего непомерного упрямства. Одолевая соблазн краткости, идем через отдаленный клин. Едва миновали поле, оказались перед зеленым ковром, сплошь усеянным красными точками: это земляника, особенно обильная в нынешнем году. У нас нет обычая запасать ягоды впрок, и наедаемся до отвала на месте, пока жара не загоняет в глубину лесного клина. А там, внутри сияет ярко-желтым светом россыпь лисичек. Они покрывают целиком дно корзины.

За клином немного вправо – Ближний Клондайк. Вообще-то ничего нынче после такого зноя не ждешь – и напрасно: при входе в этот самый Клондайк в глаза бросаются роскошные оранжевые

шляпки подосиновиков, числом два. Поиски третьего безуспешны. Следуем дальше к пейзажу, запечатленному кистью Куинджи. Разумеется, есть он и в нашей фототеке. Здесь тоже несколько полянок с лисичками, угодившими в нашу корзину; минуя их, выходим на опушку и следуем к Автостоянке – пятачку лужайки, в который упирается проложенная соседскими «Нивами» дорога. Дальше путь наш лежит к лесному широкому выступу – Могиле перочинного ножа: года три назад Вита выронила там нож из отвратительной, вечно ржавеющей стали, зато с миллиметровым делениями на рукоятке. В углу растет елочка, под которой в успешные годы всегда находится или белый, или подосиновик. Сегодня не находится ничего, и мы обходим выступ по периметру. Занятие небесполезное, поскольку в середине пути Е. вскрикивает: «Ой! Смотри!» – и показывает щегольское сомбреро подосиновика.

В самой глубине лесной полосы, если глядеть с дороги, полянка, завершающаяся старой царственной елью. Это полянка Обретенного ножа. Года три назад М. обронил здесь любимый бандитский нож с автоматически выскакивающим лезвием. И вроде простился с ним навсегда, но в течение двух недель едва ли не ежедневно приходил в эти места, и тут упрямство его было вознаграждено. Почти под самой елью лежал и ждал своего хозяина нож.

А за царственной елью другая полянка – Патриотическая. В позапрошлом году на ней кто-то праздновал 12 июня День России и помимо мусора бросил российский флажок. Мы его укрепили на крыльце, но зимой какой-то прохожий вандал выломал флаг, и теперь только осколок древка, надежно прибитый к столбику, напоминает о нем.

Леса в нашей округе неглубокие, максимум три-четыре километра, а есть полоса, где и сотни метров не наберешь, прошел насквозь, а перед тобой снова овсяное поле и за ним деревня Саблино, тоже, как и наше Устье, населенная одними москвичами. М. однажды попытался нарисовать карту с обозначением заветных мест: Перекурочной березой, Аллеей Красных героев, Патриотической полянкой, Апельсиновой рощей. Но он тот еще картограф и уж тем более – художник. Получилось нечто уродливое и к тому же совсем не похожее на действительность. Зато прекрасное пособие для шпиона. В понимании советского начальства, разумеется. Он заплутает, и его съедят если не медведи, так комары.

Есть в нашей местной топонимике названия и вовсе странные. Например, Телефонная будка. Это память о тех благословенных временах, когда мобильники уже перестали быть

экзотической принадлежностью, гордо вынимаемой из кармана малинового пиджака, а превратились в московскую повседневность. Но – в московскую, а сюда сигнал доносился слабый, относивший нашу деревню к зоне ограниченного приема. Эмпирическим путем была найдена точка на вершине холма в углу березовой рощи, откуда можно было надеяться поговорить по-человечески. Иногда труд восхождения к нашей Телефонной будке вознаграждался кучкой белых грибов.

Прогресс! Два года назад поставили в наших краях вышку, и хлопоты, откуда позвонить, отпали сами собой. Тогда же появился Интернет, но не исчезли проблемы с компьютером. Поначалу у нас работал стационарный, с монитором. Но электричество к нам приходит по линии, на языке специалистов, третьей категории, хотя платим за него мы по высшей ставке. Так вот, эта третья категория едва не устроила нам три пожара: из-за прыжков напряжения мониторы один за другим сгорели. Ноутбук оказался живучее. Тьфу-тьфу (за дерево и так держимся, сидя на лавке), уже третий год беды не знаем. А большой компьютер подарили районной библиотеке.

Кстати о библиотеке. Е. привезла для нее годовой комплект «Знамени», а М. – два вышедших зимой номера «Мира Паустовского». После того как Сороса громогласно объявили шпионом, а «Открытую Россию» закрыли, районные библиотеки остались без толстых журналов.

Итак, едем в библиотеку. Когда-то мы подарили ей пишущую машинку «Оптима», и радости не было конца. А года четыре спустя компьютер вызвал благодарность как бы средней руки: в комнате для новой техники он стал уже третьим.

В последний день ноября 2001 года библиотека пригласила нас на свой столетний юбилей. Вести машину по обледенелой трассе Е. не рискнула, добирались автобусом «Москва – Ржев». Мороз тогда стоял исключительный – аж –30°. Отопление в автобусе не работало, поэтому после четырехчасовой дороги спускаться по ступенькам на задубевших ногах было то еще удовольствие. Ночевать мы остались в гостинице «Субмарина» – по счастью, батареи пылали жаром. Но откуда такое название в этом удаленном от морских путей краю? Неужели от «Битлз»? На интерьерах экзотическое название никак не сказалось: шкафчик из ДСП со сломанной нижней петлей, тумбочка с обожженной кипятильником поверхностью, короче – «все, как у людей», т. е. в любой гостинице районного масштаба. Слава Богу, белье было чистое и до блеска накрахмаленное.

Прогресс теперь и тут. Гостиница претерпела ремонт и гордо сияет гранитной (или под него) облицовкой. И имя она сменила.

Новое звучит диковато и бьет в глаза ошибкой. «Боверли хиллс», дополненное тремя звездами, красуется на фасаде. Вот интересно, кто заполняет ее номера?..

Дома, прямо на крыльце, нас ждал подарок. Марыся принесла птичку. Сидит около бездыханной овсянки и смотрит на нас преданно, ожидая похвалы. Ну как объяснишь ей, что мышку можно душить, а птичку – нет. Когда-то мы смотрели фильм Би-Би-Си о дикой природе. Герои первой серии – очаровательные зверушки. В следующей их съедают, ибо они – пища. И ты начинаешь ненавидеть мерзких, безжалостных хищников. А затем – фильм именно про них с милыми детенышами и трогательными повадками. Но и эти обречены: их растерзают более сильные, про которых назавтра тоже узнаешь столько хорошего, и с некоторым ужасом ждешь послезавтрашней серии. Закон джунглей в действии. А в финале выживших убьет человек. Правда, не для пропитания, а для забавы, ради красивой шкуры. Очень политкорректный фильм. И поучительный. Так что домашнюю родственницу тигра и ягуара, льва и пантеры, пумы и гепарда ругать не станем. Тем более что ее именем величается все семейство хищников. Вздохнем и отдадим птичке последние почести…

Тем временем неслышно подползли сумерки. Для исправных огородников – время полива. Нам бы тоже неплохо напоить свои клумбы, но что-то лень. М., как идеолог безделья, замечает, что заходящему солнцу на западе приготовлена тучка, и если светило в нее опрокинется, завтра непременно будет дождь. Он и совершит эту нетрудную для него работу.

Гостей, посещающих нас впервые, мы встречаем еще на асфальте под стелой с надписью «Колхоз “Сознательный”». Ни один, даже самый навороченный навигатор не довезет их до Устья, поскольку, как уже было сказано, дорога к нам на карте не обозначена (да что навигатор, местный зубцовский таксист высадил ехавшего к нам приятеля за сорок метров до первого дома деревни, уверяя, что дальше никакого человеческого жилья нет – только Волга). Справедливости ради приходится признать, что дороги нет и на самом деле – только направление. Путь к нам лежит через поля, которые каждый год перепахивают, и счастливые владельцы «УАЗов» и всевозможных джипов исправно прокладывают по пашне новые трассы, естественно, всякий раз по-другому. И хорошо, если пахота приходится на сухие деньки! Бывало, что перепахивали в полосу сплошных дождей. И на неукатанной дороге здесь и там торчали в ожидании подмоги машины, вокруг которых ходили в бессильной ярости уравненные бедой хозяева «ягуаров» и «жигулей». Но и без сельхозработ после

дождя наша дорога – испытание нелегкое. Есть на ней общеизвестные опасности. Прежде всего – Лужа. Конечно, луж на дороге множество, но это название самодостаточное. Так именуется только один водоем, по глубине и ширине превосходящий лужу миргородскую и знаменитый, в частности, тем, что в нем однажды увяз эвакуатор с погруженной на него сломавшейся машиной. Е. уже пятнадцать лет боится этой дороги смертельно, хотя засела всего один раз, в самый первый год, в силу неопытности, попытавшись объехать грязь по мокрому полю. Мечты о джипе поглотили в ее сознании все прочие, хотя сиживали на нашем проселке и джипы. Их водители самоуверенно двигались вперед, не разбирая дороги, а вот вытащить их потом было куда сложнее, чем легковушку. Недаром шутят, что джип, может, и проедет по плохой дороге больше, чем паркетник, но зато потом намного дальше придется тащиться за трактором.

Даже видавшие виды журналисты местной газеты «Зубцовская жизнь», знающие район как свои пять пальцев, приехав как-то брать у нас интервью после грозы, настолько были под впечатлением от дороги, что назвали огромный материал «Доехать до литературы». Процитируем врезку: «Асфальт остался позади, а с ним и уверенность: “Туда ли мы едем? Есть ли там жизнь?”. Но вот среди буйной растительности показались домики: “Есть! Приехали!”».

Репортаж о том, как побывали у нас в гостях, журналисты напечатали в двух номерах газеты. Он получился удачным. И в отличие от многих практически без искажений. Ведь бывает такое тебе припишут – жить не хочется. А тут всего одна не то ошибка, не то опечатка. И очень смешная. Мы рассказывали, что у нас порой до тридцати гостей съезжаются. А в газете прочитали, что к нам однажды аж 300 гостей прибыли! Лишний ноль очень позабавил: мы, готовы, конечно, и 300 человек принять, но все же не настолько велико наше гостеприимство, да и просторы едва ли позволят.

…Благополучно исполнив роль лоцмана и довезя гостей до дома, садимся завтракать. Угощаем молоком и творогом со сметаной «от лично знакомой коровы», за которыми ездим регулярно в соседнюю деревню, показываем свои владения, а потом приступаем к осуществлению непременной гостевой программы.

Первый пункт – каньон. Это мы его так называем, по-местному, он просто Скалы, а историческое, ныне вышедшее из употребления, наверное за неблагозвучием, его наименование – Мудышкина гора, по фамилии купца, имевшего там мельницу. У

каньона в который раз наслаждаемся изумлением неофитов перед совершенно уральским пейзажем, непредставимым в средней России: Дёржа ревет по-горному на дне тридцатиметровой пропасти, образованной мощными каменными породами. За излучиной наш берег низменный, а противоположный возвышается гордыми соснами, возросшими в самом поднебесье. Тут в реке образовался тихий и глубокий омут, редкое в наших краях место для купания. Странный феномен: живем среди двух рек, а купаться почти негде. Дёржа мелка, ее можно перейти вброд; Волга холодна и стремительна в основном течении, а дно у нее илистое и склизкое.

Потом едем в сторону Зубцова мимо поля, куда часто слетаются аисты. Если повезет, можно полюбоваться целой стаей белых с глубокой чернью огромных птиц. К тому же говорят, что аисты селятся только в экологически чистых местах. Хотя, быть может, это такой же апокриф, как и то, что они приносят детей – демографическая ситуация здесь прескверная. На окраине города с высокого холма – Московской горки – открывается панорама старинного уездного города, состоящего из деревенских избушек с палисадниками. Легко представить себе, каким он был сто и сто пятьдесят лет назад: стоит мысленно стереть из пейзажа две девятиэтажки и квартал пятиэтажек и дорисовать колокольни и купола храмов, из которых уцелел и действует только один. Сохранились и три особняка XIX века на набережной Вазузы. Это особенно удивительно: Ржевская битва – самая кровавая в истории войны – не щадила ни городов, ни деревень. В память о ней на вершине Московской горки воздвигнута стела, по серпантину дороги установлены мраморные доски с именами бойцов, павших в сражениях 1942 года. Поиски не прекращаются, и ежегодно выбиваются новые имена солдат и офицеров Красной армии, чьи захоронения обнаружены отрядами школьников. Так что любование панорамой города на стрелке, где Вазуза впадает в Волгу, неизбежно окрашивается печалью.

На обратном пути демонстрируем как особую достопримечательность двухэтажный каменный особняк с резными лебедями на фасаде покойной Людмилы Зыкиной и руины еще недавно блиставшего новизной оцилиндрованных бревен дома главы Зубцовского района: говорят, подожгли. А там – кто знает…

Вернувшись, добиваем уже слегка ошарашенных гостей красотами в пределах деревни: на высоком берегу Дёржи так называемая скамейка для поцелуев. От нее распространяется в роскошную даль вид с холмами, перелесками, тремя деревнями по оба берега Волги – да что там говорить, Россия. И ответ на

вечную претензию к предкам, выбравшим для обживания «зону рискованного земледелия»: красота – мощная сила, она их и усадила в дремучие леса.

Вечером же вечная гостевая триада: шампур – шашлык – мангал. Отметив тюркское происхождение этих слов, рассуждаем, как водится, о приобретениях русского языка под ярмом татаро-монгольского ига. Отсюда – один шаг до «исламского светлого будущего», грозящего православному миру с фанатичных персидских берегов. Хорошо рассуждать о таких перспективах, сидя под березами и осинами. Кстати, М. уверяет, что осина с ее зеленовато-серыми стволами и пребывающей в вечном движении темною с желтоватым отливом листвой гораздо точнее олицетворяет Русь, чем пресловутая береза, признаться, изрядно навязшая в зубах. Да и в золотую осень это дерево гораздо богаче красками, от бледно-желтого до пурпурно-красного, не то что однотонная береза. Репутацию несчастному дереву изрядно подпортил миф, будто на осине, на просторах Синайских не произрастающей, удавился Иуда.

С недавних времен мангал у нас новый – сооружение на колесах, напоминающее одновременно полевую кухню и тот паровоз, под который бросилась Анна Каренина (этот роман Толстого читается вслух летом 2011 года): черный цилиндр с трубой. Его привез Миша – заботливый муж Виты.

А месяц в нашу деревню выкатывается с горы. Той самой, где, по мнению Е., земля закругляется и, если внимательно присмотреться, можно увидеть Америку и различить в тумане абрис Эмпайр Стейт Билдинг. Только вдруг возникает вопрос: месяц или луна? Ах, какая разница, сказано же в песне —

Светит месяц,
Светит ясный,
Светит полная луна.

М. убежден, что месяц – худенький, субтильный, а луна кругла и глуповата, как Ольга Ларина. Углубившись в литературу, даже пропорцию составил: месяц относится к луне, как чеховский Тонкий относится к Толстому. А что до песни, так это счастье синонимии: показать одно явление двумя словами (правила стилистики вырабатывались еще в фольклоре). Но вот вопрос: только ли красоты слога ради используют разные слова? У Е. всплывает пример из «Онегина»:

Татьяна на широкий двор
В открытом платьице выходит,
На месяц зеркало наводит;
Но в темном зеркале одна
Дрожит печальная луна…

Тут М. воспарил и заявил, что «месяц» – мужественный хорей, а «луна» – женственный ямб, и готов был углубляться дальше.

Полезли в Интернет за этимологиями, но он нам подкинул нечто более завлекательное – понятие: «иллюзия Луны». Мы видели эту иллюзию, не зная, что это явление – предмет изучения для физиков и, более того, породило ряд теорий, ни одна из которых на сегодняшний день не признана за истинную.

…Однажды мы ехали по ухабистому проселку, и жутковатое зрелище предстало нашим глазам: дрожащее зарево пожара. Деревня? Лес? На том берегу Волги? На нашем? Различить за густыми зарослями ирги и калины невозможно. Наконец, вырвались на открытое пространство.

Слава тебе, Господи! Никакой не пожар. Над самым горизонтом неправдоподобно низко роскошным красным шаром горела Луна. Вообще-то ее место – в небесной выси над головой, цвет ее или желтый, или серебристо-белый, но никак не красный. Но и с заходящим солнцем не спутаешь: знакомые очертания лунных гор были на своих местах.

Восход Луны мы тогда видели впервые. А вот про «иллюзию Луны» узнали только что. Оказывается, то, что она низко над линией горизонта выглядит куда больше, чем привычно на небосводе, есть оптический обман. Ведь если держать монетку на вытянутой руке, прищурив при этом один глаз, и закрыть ею Луну на горизонте и на небе, то эффект будет один и тот же, то есть относительный размер не изменится.

Это нас так увлекло, что лингвистические изыскания отошли на второй план. И хорошо. Мало того что «месяц» обернулся и единицей времени, и небесным светилом, так еще и Луна со своей «иллюзией» запутала окончательно.

А нам пора остановиться. Ведь рассказ о деревенской нашей жизни невозможно закончить, можно только прекратить.

Примечания

1

Елена Холмогорова . Улица Чехова, 12. М.: Московский рабочий, 1987. (Серия «Биография московского дома»).